

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 21

1986



Виктор **ВИКТОРОВ**

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

СТРОКА В БЛОКНОТЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 21

Виктор ВИКТОРОВ

СТРОКА В БЛОКНОТЕ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Виктор ВИКТОРОВ

Виктор Яковлевич Викторов родился в 1909 году. Начав свою журналистскую работу в газете «Тагильский рабочий», он трудился в «Комсомольской правде», журнале «Смена», а затем с первого же года Великой Отечественной войны — во фронтовой газете Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов. Он писал о героях боев, печатал повести о разведчиках. С 1945 года В. Викторов работает в журнале «Огонек», особое внимание обращая на воспитание сильных, волевых людей. В. Викторов — автор ряда книг об известных спортсменах. Выполняя задания редакции, В. Викторов был корреспондентом «Огонька» на одиннадцати зимних и летних Олимпийских играх, на других крупных соревнованиях.

В этой книге Виктор Викторов обратился к теме работы и жизни фронтовых корреспондентов. В. Викторов заслуженный работник культуры. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями.

БЕТОННЫЙ ШЛАГБАУМ

Наташа Лемешонок! Почему это имя прозвучало для меня так тревожно? О чем оно напоминало мне? А всплыло оно при чтении очерка Э. Максимовой «Старая тетрадь» в «Известиях» от 19 августа 1976 года. В нем рассказывалось о благородном труде работников Министерства внутренних дел Латвии, посвятивших свою жизнь соединению людей, потерявших друг друга в годы войны. И вот упоминавшаяся в этом очерке девочка из Белоруссии, после долгих поисков нашедшая свою мать, сестер и братьев, настойчиво рвалась ко мне, нынешнему, из закоулков памяти. Но я, нынешний, задавался вопросом: какое отношение ко мне имеет эта Наташа Лемешонок? В годы войны я встречался и беседовал не с детьми, а с теми, кто их защищал. Сколько их за четыре года прошло передо мной, о скольких написано во фронтовой газете! И вот в их строю оказалась десятилетняя девочка... «Стой, стой,— говорил я себе,— а не та ли эта Наташа, с прямыми бесцветными волосами, потухшими глазами, монотонным голосом, рассказывающим мне о чудовищных испытаниях, выпавших на ее долю?» Ну, конечно же...

И я наконец вспомнил осень 1944 года. Тогда наши войска освободили Ригу. Прогуливаясь по заброшенному песчаному взморью, в Буддури, я зашел в детский приют, где были собраны дети из лагеря смерти Саласпилс. Там-то я и увидел эту девочку, я вспомнил и о том, что ее рассказ публиковался во фронтовой газете. В газетном зале я нашел подшивку газеты «Суворовец» за 1944 год. Именно в ней, в номере за 7 декабря, был напечатан этот рассказ, иллюстрированный фотографией маленьких страдальцев, среди которых была Наташа Лемешонок.

Вот что она рассказала:

«Немцы пригнали маму и всех нас в лагерь прошлой весной. Папа еще до этого умер в тюрьме. Нас всех посадили в большой барак: Шуру, Женю, Галю, Борю, меня и Аню, ей был только годик. Вместе с нами было много других мам с детьми. Ночью мы спали. Вошли немцы. Увели нашу маму. Мы остались одни. Было темно, страшно.

Мы плакали. Я сперва не заметила, что маленькая Аня тоже осталась с нами. Потом я услышала ее плач и в темноте нашла ее.

Больше мы маму не видели. Мы, все дети, жили одни в бараке. Нас никуда не выпускали. Мы были все время голодные. Маленькая Аня все время кричала. Тогда я сказала об этом немцу. Он ничего не сделал. Я поила ее горьким кофе, который нам приносили.

Через несколько дней солдаты нас всех вывели из барака и повели через двор в больницу. Там нас выстроили в очередь. Аню я держала на руках. Мы не знали, что с нами будут делать. Потом пришел немецкий доктор, большой и сердитый, и другой немец. Они сказали, что будут нас осматривать. Я не видела, что они делали впереди. Но какая-то девочка вдруг стала плакать и очень сильно кричать, а доктор топал ногами. Когда я подошла к нему ближе, то увидела, что он втыкает в руку девочкам и мальчикам длинную иглу и по трубочке в подставленную бутылочку набирает кровь. Тогда я тоже стала кричать и плакать. Мне было очень страшно. Но я боялась убежать. Так мы стояли в очереди, все плакали и кричали. Когда подошла моя очередь, доктор вырвал Аню из моих рук и воткнул мне в руку иглу. А когда он меня отпустил, то стал брать кровь у моей сестрички. Я снова стала кричать и плакать. А Женя, Шура и Боря тоже. Нам было жалко сестричку. Немец посмотрел на нас и что-то сказал по-своему. Мы не поняли. Солдат, который стоял рядом, засмеялся и сказал по-русски:

— Господин врач говорит, чтобы вы не плакали. Девочка все равно умрет, а так от нее хоть какая-нибудь будет польза.

Через день нас снова повели к врачу и опять брали кровь в бутылочки. И скоро Аня умерла в бараке. Нас часто вызывали к врачу. Все руки у нас были в уколах. Мы все болели. Кружилась голова. Каждый день кто-нибудь из мальчиков или девочек умирал*.

И вот из очерка в «Известиях» я узнал, что эта Наташа Лемешонок, на чьих исколотых иглами руках умерла ее годовалая сестричка, живет в тех же местах, где я ее некогда встретила, окончила медицинский институт и работает врачом в одной из рижских поликлиник.

Кем угодно мог я представить себе маленькую «клиентку» герра доктора, но не врачом. Ведь эта профессия должна была ей каждодневно напоминать о том времени, когда у нее отбирали последнее, что еще оставалось в ее крошечном тельце. А может быть, Наташа совершенно осознанно именно так решила противостоять неизгладимым воспоминаниям того времени, когда она на правах старшей защищала своих младших сестер и братьев?! Ведь клин всегда клином вышибают!

И чем больше я думал о ее судьбе, тем все явственней проступал в моей памяти тот давний холодный, пасмурный день на пустынном Рижском взморье, где жались друг к другу тихие, вялые, больше похожие на старичков дети, у которых высосали кровь дикари XX столетия — фашисты.

Она очень ценилась, детская кровь, и применялась для лечения тяжелораненых. Может быть, солдаты вермахта и поправлялись, не знаю. Но это уж точно, что маленькие наши соотечественники,

которых сделали донорами, через две-три недели после встреч с герром доктором погибали. А тех, что оставались живы, гитлеровцы отдавали на поечение монахиням. Только с приходом Советской Армии в Ригу удалось отправить маленьких лагерников из приюта на Рижском взморье на лечение в больницы. И мне захотелось спустя десятилетия встретиться с Наташей.

Надо ли описывать то нетерпение, с каким я ждал справки рижского адресного стола, а потом звонил Наташе Лемешонок — Наталье Георгиевне Зубковой домой. Я надеялся, что смогу сразу же пойти на встречу с ней, но она была на работе в поликлинике. В ответ на вопрос, когда она будет дома, сказали, что прием больных закончится только к восьми часам вечера. Я решил поехать в Саласпилс, чтобы до встречи с Натальей Георгиевной Зубковой мысленно еще раз встретиться с Наташей Лемешонок!

Через час вместе с экскурсионной группой я шагал по асфальтовой дорожке, проложенной в лесу, к месту, которое известно сейчас всему миру как Саласпилский мемориал.

В восемнадцати километрах от Риги, недалеко от шоссе на Даугавпилс, очень удобно было построить лагерь, пусть не самый большой и не самый оборудованный, даже без крематория, но который можно было быстро загружать. За 1078 дней его существования в нем было уничтожено 100 тысяч человек. По фашистским меркам не так уж много. Разве это масштабы! Наверное, засидевшиеся в этом латышском захолустье палачи мечтали о переводе в лагерь смерти высшего класса. Но как, должно быть, опасались такого перевода заключенные Саласпилса! И вот одной из них, Анне Ивановне Лемешонок, даже не дали попрощаться с шестью ее детьми и однажды ночью увезли вместе со старшей дочерью Ниной в Майданек.

В годы войны Саласпилс был лагерным захолустьем, а теперь силой таланта, боли, гнева архитекторов и скульпторов Советской Латвии это место стало широко известно в ряду других подобных мест, превратившись в памятник человеческого мужества и страдания. Еще издалека меня поразил повисший в воздухе огромный стометровый монолит из бетона, похожий на приподнятый шлагбаум. На его шероховатой поверхности были прочерчены 1078 черточек — такими черточками заключенные обычно отмечают на стенах тюремных камер число прожитых в заточении дней. На бетонном шлагбауме были выбиты не только черточки, но и слова: «За этими воротами стонет земля», но земля Саласпилса была еще закрыта от нас, и только когда мы приблизились к шлагбауму почти вплотную, то увидели за ним огромное пространство бывшего плаца.

Эти деревья, сейчас уже тридцатипятилетние, были посажены заключенными, которые строили лагерь. Только сосны и сохранились от того, что было здесь когда-то, потому что 12 октября 1944 года при подходе к лагерю частей Второго Прибалтийского фронта охрана

Саласпилса подожгла бараки и другие лагерные сооружения, включая и тот больничный барак, где когда-то стояла в очереди к господину доктору Наташа Лемешонок с годовалой сестричкой на руках.

И все же и бараки для заключенных, и больничный блок не удалось гитлеровцам стереть с лица земли. Их контуры очерчены теперь кустами шиповника. И детский блок найти совсем нетрудно: перед ним врыт в землю камень, на котором я увидел несколько шоколадок и конфет. А рядом с этим камнем, куда по установившейся традиции посетители кладут не цветы, а конфетки для тех семи тысяч маленьких мучеников, которые погибли в Саласпилсе, высится огромная фигура матери, прижимающей к себе двух детей, третий ребенок прячется за ее спиной... Нет, не удалось спрятаться за спиной матери Наташе Лемешонок. Ей самой пришлось прикрывать своим маленьким телом сестер и братишек, оставшихся на ее попечении. И она прикрывала их своим телом, стоя в очереди к лагерному кровососу, прикрывала и в тот осенний день 1943 года, когда саласпилские каты грузили в машину полумертвых ребятишек, укладывая их слой на слой, чтобы перевезти в монастырь к монахиням.

...А на следующее утро я встретился с Натальей Георгиевной Зубковой у нее дома.

Передо мной была спокойная или, точнее, невозмутимая сорокадвухлетняя женщина, которая с явной неохотой вспоминала о своем страшном детстве и вместе с тем была похожа на ту десятилетнюю девочку с групповой фотографии, каким-то чудом сохранившейся у меня. Те же спокойные глаза, та же мимолетная полуулыбка. Наталья Георгиевна, конечно, не помнила о нашей встрече в детском приюте и не стала при мне читать статью из фронтовой газеты, которую я ей привез. Мне кажется, она была даже немного раздосадована тем, что прошлое так внезапно врывается в ее нынешнюю жизнь.

— Знаете, я долго сыну ничего не рассказывала о своем детстве, — сказала она мне, — и только когда Росту было десять лет и он удивился тому, что у меня сразу две мамы, я ему все объяснила.

Я и сама долго не знала, что жива моя первая мать. Я не чувствовала себя живой, даже когда попала в детский приют. В то время я была уже опасно больна, у меня начинался туберкулезный процесс, и в ту же осень, когда мы с вами встретились на Рижском взморье, меня увезли в больницу в Ригу. Кстати, именно в этой рижской больнице я и теперь работаю. А из больницы я попала в семью Игоря Яновича и Евгении Степановны Аболиньш.

Никогда не забуду, как однажды, когда я стала немного поправляться, инспектор детских домов Егорова привела ко мне в палату двух чем-то смущенных пожилых людей и сказала: «Вот они хотят иметь дочку, которую зовут Наташа. Хочешь быть их дочкой?» А незнакомые люди смотрели на меня, старались улыбнуться и ждали моего ответа. Но я молчала и смотрела на них. И тогда женщина сама

меня спросила: «Хочешь жить с нами?» И я, сама не знаю почему, ответила: «Хочу». И тогда мужчина сказал: «Ну вот и хорошо, Наташа. Но не будем торопиться. Придешь к нам, посмотришь. Если понравится, останешься». Я только потом узнала, как они были подавлены моим видом. Саласпилс и ТБЦ не красят и взрослого человека, а мне ведь было всего десять лет. Но это их не остановило, и в апреле сорок пятого года я приехала сюда, в эту квартиру, где мы сейчас сидим и где прошли многие годы моей жизни. Счастливой жизни... Нет, я не сразу стала считать Игоря Яновича и Евгению Степановну своими родителями. Евгению Степановну, правда, стала называть мамой довольно скоро, а вот Игоря Яновича все сторонилась и называла дядей. А он стал мне действительно отцом. И теперь, когда его нет, остался самым мне близким человеком.

Игорь Янович, старый коммунист, работал в Министерстве культуры, потом был директором музея истории Риги (этот музей находится рядом с Домским собором, так что я не раз бывала на той старой площади, куда свозили из Саласпилса детишек). Моя вторая мама заведовала библиотекой, и я с первых же лет жизни с ними не испытывала недостатка в хороших книжках. Особенно исторических, ведь Игорь Янович был историком. Но сколько я себя помню, мне всегда хотелось быть врачом, и только врачом. Почему? Трудно сказать. Может быть, потому, что я слишком много видела человеческих страданий и хотела их утолять.

Мой приемный отец еще успел помянуть внука, а вторая мама к тому времени, когда я вышла замуж, уже часто болела. Когда моя первая мать в сорок шестом году с помощью работников Министерства внутренних дел Латвии разыскала меня, и брата Шуру, и сестру Женю, я уже видела в Игоре Яновиче и Евгении Степановне своих родителей, хотя приезд моей первой матери был для меня огромным счастьем. Как я обнимала ее, как я радовалась, что мы остались живы. Действительно, подумайте только — мы живы!

А вскоре моей первой матери стало известно, что отец, которого мы считали погибшим, офицером сражался на фронте, и, раненный, зимой сорок пятого года узнал в госпитале о нашей судьбе. И ведь узнал он о том, что мы живы, из журнала «Огонек». Вот как бывает! Об этом маме сообщил товарищ отца. Он лежал с отцом в госпитале. После выздоровления, так и не получив ответа на свое письмо, отправленное в Латвию, отец погиб в боях с японцами в Маньчжурии.

Ни на один месяц не прерывалась моя связь с матерью, которая не желала оставлять родную Белоруссию, хотя мои приемные родители предлагали ей переехать в Ригу. И Ростика я свезла в Белоруссию, к его бабушке. Тогда-то он и спросил, почему у меня две мамы.

Да, у меня были две мамы и отец, такой добрый, хороший отец! Как хотел он сделать мою жизнь счастливой! «У меня одна только цель, —

часто говорил Игорь Янович,— поставить тебя на ноги». Моя вторая мама тоже считала, что мне надо как можно скорее стать на ноги и поэтому идти учиться в техникум: она, видимо, чувствовала, что недолго проживет. Но отец говорил: «Пусть Наташа сама выбирает, что хочет». А я давно уже выбрала свой путь. И вот в пятьдесят четвертом году, когда окончила школу, поступила в Рижский медицинский институт, и даже моя закадычная подруга, с которой я сидела за одной партой с четвертого класса, Таня Вейсберг, не могла меня уговорить идти учиться в другой институт.

Таня не могла понять, почему я хочу быть врачом. А вы понимаете? Вспомнился ли мне другой врач? Из Саласпилса? О Саласпилсе я старалась не вспоминать. Конечно, когда я училась в институте, мне приходилось учиться брать кровь. И мне приходилось лечить плачущих детей. Да мало ли что приходилось делать? Вот я и в больнице работаю в той самой, в которой когда-то лежала после лагеря. И ни минуты не жалею, что избрала для себя такую трудную, я сказала бы, даже суровую, профессию. На моих руках умерла моя вторая мать. В той же больнице, где меня лечили и где сейчас я лечу других. Я врач и видела, как быстро после ее смерти старел отец. Когда люди живут вместе почти полвека, они редко друг друга надолго переживают.

Игорь Янович ушел на пенсию, когда я была еще на пятом курсе. Жилы мы нелегко, и моя стипендия была, как говорится, в строку. Ну, а потом пришел конец учебе, я начала работать ординатором на Рижском взморье, на курорте в Кемери, и на том самом Рижском взморье, куда меня привезли полуживой из Саласпилса, встретила своего будущего мужа — Евгения Никитовича Зубкова...

Подумать только, уже пятнадцать лет я работаю врачом. Вы же знаете, что такое участковый врач. С утра до вечера на людях. И все это время на том же самом участке. Под моей опекой две тысячи двести двадцать пять человек. И почти всех я знаю. Они называют меня своим доктором. В каждой семье я свой человек. Сколько уже детишек под моим надзором выросло за пятнадцать лет! Но к одному только, наверное, никогда не смогу привыкнуть: к детскому горю, к детскому страданию. Я стараюсь не вспоминать того, что было. Но забыть это невозможно. Я и в Саласпилс решила наведаться только два года тому назад. Столько слышала о нашем мемориале, а вот поехать туда не могла себя заставить... Нет, с памятью справиться не так-то просто...

* * *

Вот последние слова в рассказе Натальи Георгиевны Зубковой: «С памятью справиться не так-то просто». Да, не так-то просто опустить бетонный шлагбаум, оставить за ним страшные годы. Я ведь тоже, оказывается, за тридцать лет не забыл Наташу Лемешонок, ее рассказ, и мне до сих пор трудно представить себе, что девочка из

Саласпилса теперь врач, да еще какой! Завоевала звание лучшего участкового врача города Риги. Трудно поверить, что Наташа Лемешонок и Наталья Георгиевна Зубкова — одно лицо...

В вечер отъезда из Риги у Наташи Георгиевны снова был прием, и я зашел в поликлинику с ней попрощаться. У дверей ее кабинета сидели человек пятнадцать, и я подумал, глядя в спокойные лица людей, что никто из них, наверное, не знает, в какой очереди к врачу с годовалой сестренкой на руках стоял когда-то их уважаемый, любимый доктор. Ведь она об этом никому не рассказывает.

СТРОКА В БЛОКНОТЕ

Хозяйство фронтового репортера незамысловато: блокноты, записные книжки, лаконичные отметки прошлого, зарубки памяти. Вот и у меня за годы войны накопилось таких зарубок немало, и иногда в свободный час я люблю перелистать увядшие странички. Многие записи, видимо, стерлись навсегда и не дают толчка моей мысли, но случаются и чудеса: прочтешь одну какую-нибудь строку, и вдруг время возвращается вспять, или, точнее, люди из прошлого, с которыми я когда-то беседовал, о которых собирался писать, оказываются рядом, в дне сегодняшнем, и ты по-новому видишь их, совсем иначе, чем прежде, воспринимаешь. Вот такое чудо я и испытывал недавно, перелистывая один из последних своих фронтовых блокнотов.

Я заметил, что к военным записям мы обращаемся все реже, может быть, потому, что они неизбежно заслоняются впечатлениями последующих лет. Так, новые записные книжки отодвигают старые все дальше в глубину шкафа. Об этом я и подумал, пытаюсь вспомнить, что же таится за словами «просто бой». Записанная, наверное, впопыхах, размашисто и не очень разборчиво, эта строка мне не говорила ничего, но, чем упорнее я в нее вчитывался, тем больше поражался ее удивительной объемности и сложной простоте. «Просто бой». Разве бой может быть простым? По нашим сегодняшним представлениям эта коротенькая фраза парадоксальна. Ведь бой — это высочайшее напряжение всех человеческих сил. Какая же тут простота? Но от этого неожиданного сочетания двух слов веяло чем-то очень памятным, близким и влекло меня в военное прошлое. Да, тогда бой был простым, обычным делом, буднями войны. Но почему же меня так поразила эта фраза? Почему я записал ее в блокноте? О чем она говорила? Кто рвется ко мне в день сегодняшний из давнего фронтового дня? И, может быть, я никогда бы не получил ответа на эти вопросы, если бы, уже отчаявшись, не перевернул пожелтевшую блокнотную страницу и не прочел на следующей странице другую запись: «Медсанбат на берегу Двины» — и в одно мгновение эти две, казалось бы, разрозненные записи слились воедино...

Какое нежное лето выдалось в том сорок четвертом году! Какой аромат источал придорожный вереск, как щекотал лицо золотистый песочек! Войска стремились к Риге не только по шоссе, но и по проселкам, и мертвые немецкие минеры лежали на перекрестках, раскинув ноги, словно умаявшись. Под древними стенами укромных хуторов валялись каски, противогазы, фотографии, листовки, окровавленные бинты.

Сперва мне повезло — удалось устроиться на бронетранспортере, и я смог собрать нужный фронтовой газете материал, как говорится, из первоисточника — от наступающих танкистов. Но для газетчика, как и для разведчика, главная проблема — связь, а где же найдешь телеграф, сидя на броне? Вот и пришлось возвращаться в редакцию, и меня утешало лишь одно: на попутном «виллисе» я добрался до тылов танковой части и надеялся, отписавшись, вернуться сюда снова, чтобы на любой машине попасть на передовую.

Всего лишь день я провел в редакции, даже не распаковав вещевого мешка. И запомнилась мне та мимолетная передышка лишь руладами Лещенко с трофейной пластинки, которую без усталости крутили наши корректорши. «Ты и эта гитара, неразлучная пара и шампанского чара и на сердце весна». Но война уже давно разлучила нас с женами и невестами, да и о шампанском нам оставалось только мечтать.

Вот о чем я вспоминал на знойных латвийских перекрестках, возвращаясь к танкистам. Укромный проселок вился по сосновому бору, словно повторяя переливы птичьих голосов, и такая тишина, такой покой царил здесь, будто войны не было и в помине. Но, приглядевшись к дороге, я заметил следы танковых траков, темные капли не то мазута, не то крови, обгоревший танкистский шлем, а потом увидел шлагбаум, перегородивший лесной перелесок, а за шлагбаумом задымленный Т-34. И какой-то танкист, мокрый, словно он только что выскочил из раскаленной машины, требовал инструмент.

«Вот и хорошо, — подумал я. — Теперь до возвращения на передовую я смогу получить новый материал, надо только разыскать командира — и дело в шляпе». Но тут я просчитался: командира поврежденного танка я обнаружил без особого труда, но он крепко спал, уткнувшись в измазанную мазутом траву, и все попытки танкиста доложить ему, что инструмент, нужный для ремонта, он принес, успеха не имели.

Сколько лет прошло, а я и сегодня вижу поразившую меня сцену: подбитый танк, рядом с ним безмятежно спящий командир и полный азартной энергии член его экипажа, кричащий в самое лейтенантское ухо: «Достал я инструмент, достал».

— Зачем же вы командира тревожите, — попытался я его вразумить, — вдвоем все равно много не наработаете. — Но танкист не очень вежливо отмахнулся от меня:

— Ребята сейчас подойдут.

— Что, тоже отдыхают? — попытался я завязать беседу.

— Да нет, они в медсанбате. Ожоги лечат.

— И они смогут вам помочь?

— А чего? У них ожоги легкие.

— Легкие? — усомнился я.

— Не сомневайтесь, легкие, — успокоил меня танкист. — Мы по ожогам спецы.

И действительно, еще два танкиста тут же появились у машины. И один из них, маленький сержант с перевязанными ладонями, подозрительно оглядев меня, спросил:

— Вы, извиняюсь, кто будете? — а узнав, что я из фронтовой газеты, стал объяснять, что они за двое суток столько боевых комплектов израсходовали, что командира сейчас не добудиться.

— Так вы его замените, — предложил я без всякой надежды. Что может рассказать солдат, только что вышедший из боя, мне было хорошо известно, а лейтенант спал, по-мальчишески щуплый и в своем разорванном, обгорелом комбинезоне был похож на напроказившего сорванца. И вдруг он рывком перевернулся на спину и, не открывая глаз, спросил:

— Пахомов, ты здесь? Заправились? Зарядились? Можно ехать?

— Это он со сна, — доверительно шепнул мне тот танкист, который пытался его будить. — Думает, что машина на заправке. — И, наклонившись доложил: — Тут к вам из газеты.

И тогда я увидел глаза лейтенанта. Они были неправдоподобно белые в черных глазницах.

— Вы ко мне, товарищ капитан? — спросил он спокойным тоном. — Простите, я сейчас. — Он стал, не торопясь, подниматься и вдруг стремительно вскочил: — Пахомов, что с машиной? — крикнул он яростно, затягивая пояс, и, не дождавшись ответа, горестно вздохнул. — Надо же, бок подставил. Где ремонтники?

— Все у машины Петрова, — доложил Пахомов. — Дыру изучают. Как будто новый снаряд фрицы придумали.

— Петрова подбили? — строго спросил лейтенант. — А сам он где?

— Да в медсанбате, — сказал маленький танкист с перевязанными ладонями. — Только что его видел. Ноги у него нет.

— Нет ноги? — закричал пронзительно лейтенант. — Володька без ноги? Володька Петров?

И я понял, что с командиром танка, хоть он и проснулся, сейчас не поговоришь. Понял и все же попросил:

— Вы хотя бы вкратце расскажите, как было дело.

— В газете хотите меня описать? — грозно спросил лейтенант. — За что же мне такая честь? За то, что я танк повредил? За то, что друга не уберег? Вы о Петрове напишите. Володька, друг! — закричал он

рыдающим голосом и тут же совершенно спокойно приказал: — Пахомов, веди капитана в медсанбат. Одной ногой туда, другой обратно... Одной ногой, — повторил он, — одной ногой. — И заплакал.

А мне стало не по себе от своей настойчивости: разве можно приставать к человеку, подавленному невероятной усталостью и горем. Нет, человеку можно приказать идти в бой, но нельзя приказать рассказывать об этом бое. Тут армейские уставы не властны. И все же по дороге в медсанбат я снова попытался у сопровождавшего меня танкиста узнать подробности происшедших на поле боя событий, но услышала лишь одно:

— Шли, вели огонь, с пехотинцами ругались: они вечно под гусеницы лезут...

— А как Петрова подбили, вы видели?

— Да как увидишь? Он же шел правее метров на пятьсот. Наш с ним связь держал. «Володька, почему огонь не ведешь?» — спросил, а ответа нет. Вот лейтенант и приказал изменить направление, хотел к Петрову подойти, ну и на бронейщика нарвался. — А я слушал это так хорошо мне знакомое: шли, вели огонь, — и думал: как об этом писать?

— Вот через лесок пройдем, так ближе, — предложил Пахомов. И когда показались объемистые палатки медсанбата, добавил: — Трудная у вас работа — писать. Вы уж меня извините.

Медсанбат жил своей хорошо знакомой мне жизнью. Молодой хирург с высоко закатанными рукавами запятого кровью халата вышел покурить и задумчиво поглядывал на искрящееся русло реки. Сестра-хозяйка переругивалась с поваром. Заплаканная девчонка-санитарка в пыльной гимнастерке, видимо, доставившая раненых, искала своего шофера. Какой-то начальник в белом халате совершал обход под почтительным эскортом нескольких офицеров — пойдй разбери, какого он звания.

— Вы к кому? — спросил он меня, и я, предъявив свое редакционное удостоверение, сказал, что иду танкиста лейтенанта Петрова.

— Когда привезли, знаете? — спросил начальник и, полюбившись, приказал одному из сопровождающих. — Помогите товарищу капитану.

— А тут нечего помогать, товарищ майор, — сказал офицер, — тот Петров, который сам приехал на своем танке.

— Так это для него палатку освобождали? — спросил майор и с недоумением посмотрел на меня. — А вы к нему с какой целью? Поговорить с ним не удастся.

— Вы знаете, товарищ майор, в нашем деле посмотреть иногда даже лучше, чем поговорить, — сказал я.

— Ну если так, то прошу. — И майор сам повел меня к палатке, стоящей на отшибе. — Вот он. — И показал на койку, у которой сидела медсестра. — Мы сделали все, что могли, но, кажется, проиграли.

Согнувшись, запустив пальцы в густые рыжие волосы, медсестра раскачивалась из стороны в сторону, и это, видимо, удивило не только меня, но и начальника медсанбата, потому что, растерянно остановившись у входа, он спросил громким шепотом: «Миронова, что с вами?» Но девушка молчала и продолжала раскачиваться в том же ритме.

— Ну ладно, разбирайтесь сами,— сказал майор,— у меня обход.— И он вышел, хлопнув брезентовым пологом палатки. И девушка, вздрогнув от щелчка палаточного полога, уставилась на меня.

— Вы к нему? — спросила она и показала на койку, с которой доносились стоны.— Из политуправления? Хотите составить боевое донесение? Подвиг лейтенанта Петрова? Правильно? Угадала? — Ее слова были спокойны, даже чуть-чуть насмешливы, но ее усыпанное веснушками лицо искажено страданием.— Если так, то советую поторопиться.

— А он нас слышит? — шепотом спросил я.

— Все время проваливается, а потом возвращается. Сейчас не слышит.— И девушка склонилась над койкой, всматриваясь в то, что лежало там, укрытое простыней.

— А вы тоже проваливаетесь,— сказал я.— Тут майор приходил, спрашивал, что с вами, а вы и не услышали.

— Майор приходил? — встрепенулась девушка.— Ах, нехорошо. Очень нехорошо.

— Вы что, знакомы с Петровым? — спросил я.

— Не помню... Кажется, нет,— покачала головой девушка.— Нет лично я не смогу быть вам полезной.

— Я из редакции,— сказал я.

— Тогда тем более не смогу. Вот о медсанбате, пожалуйста.

— А я подумал, что вы знакомы,— сказал я.— Так горюют только о близком человеке.

— Они для меня все близкие. Вы, наверное, о санинструкторах не писали?

— Нет, писал,— сказал я, пытаюсь разобраться в том, чем вызвано ее отчаяние.— Если вы будете так отчаиваться, вас ненадолго хватит.

У нее были пышные, коротко остриженные рыжие волосы, перешитая по фигуре гимнастерка, шевровые сапожки — все как положено по фронтовой моде, и все это совсем не вязалось с ее отчаянием, которое она и не пыталась скрывать.

Петров был таким же маленьким, как и тот, другой, который спал у своего подбитого танка, и девушка, стирая пот с его лба, смачивая водой пересохшие губы, поглядывала на меня укоризненно. Может, она по каким-то причинам не хочет признаться, что знает Петрова? Может, это ее нареченный? А может, муж?..

Сейчас я вспомнил, что тогда эта неожиданная мысль обострила мой интерес к медсестре, и я спросил ее, многих ли она вытащила из огня на своих плечах.

— Почему только на плечах? — сказала она. — На чем придется вытаскивала. — Но тут раненый вдруг страшно вскрикнул, и она, словно устыдившись, что отвлеклась, бросилась к нему, пересела на койку, шепча что-то успокаивающее, ласковое, а потом обернулась и сказала:

— Вы бы шли, товарищ капитан. Сейчас врач придет.

И вдруг раненый лейтенант перестал стонать, открыл глаза и сказал:

— Мне повезло... сестричка. Не обгорел я.. Больше всего боялся обгореть... А вот не обгорел... — И эти слова поразили меня. «Он еще говорит о везении, — подумал я. — Об этом же невозможно написать».

— Смирнов где? — прошелестел раненый. — Вы не знаете, жив Смирнов?.. Он на машине номер пятьдесят воюет... Скажите ему, не обгорел я. Не обгорел... Обязательно скажите. — А рыжеволосая медсестра все так же раскачивалась из стороны в сторону, не скрывая своего отчаяния.

Надо ему сказать, что это Смирнов послал меня. Надо сказать, что Смирнов жив. Это может вернуть мальчику хотя бы капельку сил. Все это я понимал, но слова не мог выдать.

— Почему лейтенант один в палатке? — спросил я медсестру, чтобы хоть как-то прервать затянувшееся молчание, но девушка лишь досадливо пожалала плечами.

— И все вас, газетчиков, интересует. До всего вам дело. Это же морг, — прошептала она. — Понимаете, морг. За палаткой трое лежат. Если он выживет, его перенесут в общую палатку, а если нет, то присоединят к нему тех троих.

«Как она спокойно говорит об этом, — отметил я. — Такое отчаяние и такое равнодушие. Но разве можно требовать на войне от врачей и сестер горячего сочувствия к каждому уходящему? Да у них же никаких сил на это не хватит!»

А лейтенант Петров снова заговорил:

— Сестричка... Как Лешка Смирнов?.. Жив?.. Ты здесь, сестричка?.. Подожди... Не уходи...

— Куда же я от тебя уйду, — сказала девушка. — Смирнов тебе привет передает. Ты слышишь меня? Расскажи, как это случилось. — Но лейтенант молчал. А потом его белые губы разомкнулись, и я услышал: «Ничего... Ничего не случилось... Просто бой».

Просто бой! Вот эти два слова и оказались в моем блокноте. Просто бой. И больше ничего. Вот как все было тогда просто, так просто, что я и забыл, с чем связаны эти слова.

Сейчас мне непонятно, как я мог забыть лейтенанта Петрова, как мог ничего не записать в своем блокноте о девушке, которую встретил

у его смертного ложа. И я вдруг вспомнил, что, когда записывал последние слова Петрова «просто бой», она заслонила от меня умирающего, и ее волосы, пронзенные солнечными лучами, проникшими в палатку, взметнулись огненным нимбом.

— Он же кончается. Разве вы не видите, что он кончается? — прошептала она. — Идите. Сейчас врач придет. — И тут же прошуршали шаги врача, но, прежде чем он успел подойти к койке, лейтенант открыл глаза и сказал очень отчетливо, явно обращаясь ко мне:

— Скажите Смирнову, что мне... повезло... Очень повезло... — И он замолк, а врач припал к его груди, взял его руку и бросил медсестре: — Все!

Я вышел из палатки вслед за ней и был оглушен солнечным блеском реки, жаром горячего песка, лаем щенка, бросающегося под колеса подъезжающей санитарной машины. Сам не зная для чего, я брел за девушкой, а она вдруг остановилась посреди песчаной пробитой машинами дороги, а затем со всех ног кинулась в сторону, в лесок, и рухнула ничком на основую подстилку. Спина ее, обтянутая обуженной гимнастеркой, содрогалась от рыданий.

— Миронова, что с вами? — автоматически повторил я вопрос командира медсанбата. Нет, она, конечно же, знала лейтенанта. Но как бы в ответ на эту догадку услышал ее совершенно спокойный голос:

— Да ничего, просто скончался еще один. — И она уселась, опираясь на ствол сосны, и стала разглядывать в зеркальце свое опухшее от слез лицо. «Ее веснушки от слез стали еще крупнее», — подумал я, усаживаясь с ней рядом, а она, искоса взглянув на меня, спросил:

— Что же, о Петрове так и не напишете?

— Нет, не напишу. Я ничего о нем не знаю. А вы так и не помогли мне узнать.

— Ничего, придумаете. Вы же придумали, что я его девушка. Признайтесь, придумали?

Как поразительно сочетались в ней девичья ранимость и фронтовой цинизм. «Вот она, война, — подумал я тогда, — темные, загадочные ее закоулки».

А девушка между тем продолжала меня укорять.

— Я же знаю, вы не теряетесь, — сказала она. — Пообтерлись на войне. А я вот никак не могу. Ничего у меня не получается. Как ни стараюсь. — И в ее голосе снова прозвенели слезы. «Нет, она все-таки его девушка. Только об этом даже заикнуться нельзя», — подумал я и сказал:

— Столько девушек привыкли, а вы не смогли.

— Да, не смогла, — сказала Миронова. — Не могу я так: вытащила раненого — и будь здоров. Для того чтобы привыкнуть к войне, надо, наверное, смерти не бояться. Надо быть бесстрашным.

— Ну, а Петров? Он был бесстрашным?

— Ну какой же он бесстрашный. Вы же слышали, все боялся сгореть... А я спасти раненых так и не научилась. Когда каждого умершего оплакиваешь, то много не напасешься. — И вдруг, оборвав себя, спросила: — Вам что, не приходилось видеть, как танк горит, как в нем ребята погибают? — И тут же добавила: — Ну как, согдится вам наша беседа, капитан? Благодарность в приказе получите или выговор?.. — И вдруг вскочила, отряхнула сосновые иглы со своей юбочки и бросила на бегу: — Новых привезли. Будьте здоровы.

...Очерк о командирах танков Владимире Петрове и его друге Алексее Смирнове я все же написал. В штабе танковой бригады мне удалось встретить офицера, который знал их лично, но о Светлане Мироновой в том очерке не было ни слова.

Письмо от Светы Мироновой я получил чуть ли не через полгода после описываемых событий. Сейчас я нашел его в своем фронтовом архиве.

«Здравствуйте, товарищ капитан, извините, не знаю вашего имени-отчества,— писала Света Миронова,— да и фамилию вашу узнала, только прочитав вашу статью. Номер газеты с вашей статьей мне переслал мой муж Алексей Смирнов. Помните такого? Он еще вас к Петрову в медсанбат послал. Ваша статья о многом мне напомнила. Если вас мое жите интересует, то оно течет обычно. Из действующей армии меня отчислили по причине беременности. Сейчас жду дня родов и тревожусь за мужа. Его тяжело ранило при взятии Риги. Помните, Петров, умирая, считал, что ему повезло, потому что он не сгорел. Так вот Леша не повезло: обгорел, сильно, как и положено танкисту. Особенно пострадало лицо, я его красивым почти и не видела. Но разве в этом счастье? Лишь бы живым вернулся. Я хоть и в тылу, а все равно чувствую себя на фронте, ведь все, что пришлось пережить, никогда не забудется. Часто вспоминаю бригаду, медсанбат и наш разговор. Я тогда много лишнего наговорила, уж больно смерть Петрова меня потрясла да и вы разозлили. Леша на его похоронах не был, он в бой ушел, а когда вернулся заправляться, пришел в медсанбат и меня обо всем расспрашивал. Он так сокрушался, что я не знала, как его успокоить. Так мы и познакомились. Затем желаю успехов в вашей работе с надеждой, что вы еще помните Свету Миронову».

Тогда, на фронте, я несколько раз перечел письмо Светы Мироновой. Она окончательно опровергла все мои догадки, но какое это имело значение? Лейтенант Петров скончался в своей «персональной» палатке, медсестра Миронова вышла замуж за его друга лейтенанта Смирнова, и если бы я попал в медсанбат танковой бригады месяцем позже, то действительно застал бы ее у постели близкого ей человека.

Теперь-то я понимаю: Свету Миронову пугала наша мужская рассудочность. Она ей казалась страшнее любых ранений. И лейте-

нанта Смирнова Света, наверное, полюбила, потому что почувствовала его душевную ранимость.

Нет, бой — это совсем не просто, теперь-то мы это понимаем. Но должен ли я был рассказать своим фронтовым читателям о девушке, которая никак не могла привыкнуть к войне? Нет, даже если бы и понял сразу Свету Миронову, рассказывать о ней было бы тогда преждевременно. Сейчас же она так ярко возникла передо мной, словно я только что вышел вместе с ней из палатки медсанбата на солнечный берег Даугавы. Вот мне и захотелось осветить этим немеркнущим светом и девушку по имени Света, и одну строку в своем фронтовом блокноте.

УРОК ПУЛЕМЕТНОЙ СТРЕЛБЫ

Семенов заведовал отделом писем в большой всесоюзной газете, и эта работа держала его в непрестанном напряжении, заставляла заниматься самыми острыми, самыми запутанными жизненными обстоятельствами. Все в редакции давно привыкли к тому, что каждое письмо, представляющее интерес, у Семенова никогда не залеживается. Но сам он в газете не выступал, а его молодые помощники и не подозревали, что во время войны их «шеф» был одним из самых заметных фронтовых корреспондентов. Но Семенов о военных годах никогда не вспоминал, словно их и не было в его жизни, и орденов никогда не носил, и военных мемуаров в редакционной библиотеке не брал, и на военные фильмы не ходил.

Молодые сотрудники отдела писем прозвали своего начальника товарищем Пас, не только потому, что это прозвище состояло из трех букв, начинавших его имя, отчество и фамилию — Петр Алексеевич Семенов, но прежде всего потому, что, как им представлялось, он раз и навсегда объявил своей жизни пас. Однако на заслуженный отдых Петр Алексеевич не торопился и даже отпуск использовал не всегда. Но в этот раз путевка в один из гагринских санаториев была им получена, все письма, находящиеся у него на контроле, переданы заместителю, и только свое дежурство в приемной редакции, совпавшее с последним днем перед отъездом, Семенов никому не передоверил: четверых из пяти человек, дожидавшихся приема, он ждал, потому что сам выписывал им пропуска, а пятый, высокий старик в вылинявшем пиджаке с плотными рядами орденов ленточек, представившись, сказал, что пришел без вызова. И тут же поинтересовался, не тот ли он Семенов, который написал статью о пулеметчике Урванцеве.

— А вам это к чему? — спросил Петр Алексеевич. — По вопросам, касающимся меня лично, я не принимаю.

Но это не смутило старика:

— Если вы тот самый Семенов, вы должны уделить мне несколько минут. Уж очень долго я вас искал. Было совсем отчаялся. Фамилия-то у вас очень обиходная.

Петр Алексеевич разглядывал старика, пытаясь представить себе, с чем связывает свой визит этот человек и что интересует его в давнем очерке о пулеметчике? Сослуживец? Родственник? Не находя ответов на возникающие вопросы, Семенов решительно заметил:

— Ну, если вы настаиваете, то позвольте узнать, что же все-таки привело вас ко мне? И еще, — предупредил он, — если вам нужна помощь редакции, то мое прошлое к этому не может иметь никакого отношения. Если ваша просьба выполнима, я постараюсь помочь вам и так, по долгу службы.

Однако столь официальное заявление Петра Алексеевича не смутило орденосного старика. Он спокойно, как ни в чем не бывало сказал:

— Вы уж извините мою настойчивость, но мне очень важно узнать: это ваша статья была напечатана в газете на «Разгром врага», если не ошибаюсь, весной сорок третьего года?

— Да зачем вам это знать? — уже всерьез рассердился Петр Алексеевич. За годы работы в отделе писем он выработал в себе такую невозмутимость, что ее не могли поколебать самые настырные посетители. А тут вот поди ж ты! И, подавляя гнев, спросил уже тише:

— Какое это имеет отношение к приемным делам?

— К делам никакого отношения. Это имеет отношение только к вам и к Сергею Урванцеву, — невозмутимо ответил старик. — Вам эта фамилия ни о чем не говорит? — И старик посмотрел в глаза Семенова. — Вспомните. Ну, пожалуйста, вспомните. Урванцев, — повторил он по слогам.

— Это вы Урванцев? — спросил Петр Алексеевич.

— Да нет же, — отмахнулся старик.

— А при чем здесь Урванцев? Вы хлопчете о нем?

— О нем хлопотать уже поздно. Нет, тут дело в другом. Неужели вы не помните пулеметчика Урванцева? Вы же писали о нем...

— Да я о многих писал, — уже спокойно объяснил Семенов. — Всех, пожалуй, и не вспомнишь. Но вот вашего Урванцева по ряду обстоятельств помню. Только зачем вам это нужно, чтобы я его помнил, не знаю.

— Видите ли, Петр Алексеевич, дело в том, что Сергей Урванцев, умирая, завещал мне найти статью, которую вы о нем написали. Он всегда гордился тем, что о нем было напечатано в армейской газете, а вот газета у него не сохранилась, истерлась в солдатском сидоре.

— Так зачем же ему перед смертью понадобился мой очерк?

— Скорее не ему, — сказал старик. — Он знал ваш очерк наизусть. Огорчался он тому, что ваша заметка о нем уйдет вместе с ним

в могилу. А у него ведь внуки. О них-то, наверное, он думал, когда меня просил достать газету с вашим очерком. Чтобы память о нем, военном пулеметчике, жила в семье...

Семенов промолчал, пытаясь ничем не раскрыть своего волнения. Сколько лет прошло. Он старался ни о ком не вспоминать. К чему ворошить прошлое?! И вдруг этот старик, а вместе с ним Урванцев, о котором он когда-то написал.

— О чем же таком я написал в очерке? — тихо спросил Семенов.

— О человеке, Петр Алексеевич, об Урванцеве, который стал героем нашего полка. Да что полка — дивизии! Все солдаты захотели стать пулеметчиками. И я приехал к вам за этой статьей для внуков. Подумал: у кого же она может сохраниться, как не у автора?!

— Если бы, — смутился Семенов. — Далеко не все удалось сохранить. А очерка у меня, кажется, нет. Да, нет. И самого-то Урванцева я запомнил лишь потому, что с ним оказались связаны какие-то важные моменты моей жизни. Так что у меня ничего нет, — сказал Семенов.

— И вас это не гнетет? — спросил старик. — Я вот до сих пор всех своих соратников помню. Это же святое дело помнить всех.

— А я не помню, — признался Семенов. — Я многое постарался забыть.

— Да, вот, значит, как у вас жизнь сложилась, — участливо вздохнул старик. — Всех нас после войны ждали и заботы, и огорчения. Это мы на фронте считали, что после войны небо над нами всегда будет безоблачным. Вот и Серега, — это я, извините, Урванцева так называю, — думал, что навсегда останется героем не только моей роты, я тогда ротой командовал, но и всей армии. А кто о нем сейчас помнит? Еще немного времени пройдет — и о нем и внуки вспоминать не станут... Может, все же найдете статью... А? — И старик умоляюще посмотрел на Семенова.

— Да как же я могу найти, — развел руками Семенов.

— Что же вы со своими статьями сделали? — спросил старик. — Не в сидоре же они истерлись, как у Урванцева?

— Все истерлись, — признался Семенов. — Ничего не осталось. Ровным счетом ничего.

Старик смотрел на Семенова не то с недоумением, не то с обидой.

— Что же вы мне посоветуете? — спросил он.

— Что я могу вам посоветовать? Обратитесь в военный архив, там, наверное, хранятся комплекты газет. Или попробуйте связаться с секретарем газеты «На разгром врага». Если он жив, то, наверное, сохранил подшивки за все годы. Он такой был.

— А вы ни с кем из старых товарищей контакта не имеете?

— Нет, не имею, — сказал Семенов. — Рад бы вам помочь, но...

И он замолк, испытывая странное чувство, в котором слились полнейшая беспомощность с беспредельным удивлением. Кто бы мог

подумать, что его неудачная статья о пулеметчике Урванцеве имела для солдата такое значение?!

Они сидели друг против друга — два старика, и ничем не могли помочь друг другу.

— Сколько лет прошло с тех пор? — спросил Семенов. — Когда умер Урванцев?

— Да уж второй год пошел. Я же вас найти никак не мог... И вот наконец нашел, — со вздохом сказал старик. — Ну что же, простите за беспокойство... Желаю хорошего отдыха.

Старик поклонился и пошел к двери. И тут Семенов понял, что не может так просто отпустить его.

— Погодите, — сказал он. — Я попытаюсь после возвращения что-нибудь сделать. Непременно попытаюсь.

На том они и расстались. Семенову стало как-то легче. Весь день, полный предвзвездной суеты, и в поезде он вспоминал об этой ошеломившей его встрече. Вот как получилось: Урванцев, оказывается, долгие годы по памяти читал своим детям, а потом и внукам очерк, написанный им, Семеновым. Узнав об этом, он уже не мог не думать о пулеметчике Урванцеве, встреченном на дорогах войны...

В Гаграх Семенов не бывал несколько лет. В первый приезд сюда этот приморский городок показался ему пристанищем счастливых. Они прогуливались по главной улице вдоль пляжа, глазели на закат, как на скандальное уличное происшествие, любовались попугаями в большом вольере, установленном прямо на тротуаре под окнами одноэтажного домика. И когда вечером выходил кормить попугаев толстый хозяин, сам похожий на какаду, у вольера собиралась целая толпа. Но теперь ни закат, ни птички не привлекали внимания Семенова. Неужто так и придется весь отпуск думать об Урванцеве и обо всем том, что было с ним связано?! Нет, ведь в таком случае это будет не отдых. В какой-то момент Семенов даже решил уехать домой к привычной работе, не оставляющей времени для воспоминаний. Но он вовремя понял, что это его не спасет: отныне вместе с ним уедет из Гагр и пулеметчик Урванцев. И уедет не только он. А потому дело с Урванцевым, возникшее столь неожиданно, надо было завершить. Хотя бы для себя. И Семенов начал вспоминать то время, когда он впервые появился в газете «На разгром врага».

Это случилось весной сорок третьего года, к закату дня. Переступив порог уединенного тихого дома, он был ослеплен и оглушен царившей в нем сутолокой и многолюдьем. Редактор газеты встретил его приветливо, напоил чаем, а затем, проводив в комнату корреспондентов, попросил располагаться как дома, а сам пошел читать полосы. Журналисты с любопытством разглядывали столичного гостя, спрашивали его, надолго ли он намерен задержаться в расположении их армии, успел ли собрать материал для своей корреспонденции. Семенов, отвечая на эти равнодушные вопросы, думал лишь о том, где

бы найти тихое местечко, чтобы собраться с мыслями, написать текущий репортаж и тут же передать его в Москву. Но он знал, что с текстом, написанным от руки, на узел связи лучше не соваться: не тот у него почерк. Придется просить редактора предоставить ему машинистку. Сколько раз Семенов выговаривал себе за то, что не научился печатать на машинке или по крайней мере писать разборчиво. А учиться этому на войне было нелепо, да и времени не было.

В корреспондентской писать было невозможно! Его армейские коллеги, видимо, довольные тем, что могут провести этот вечер в тепле и уюте, играли в преферанс, поедали, нахваливая, жареную картошку и распевали фронтовые песенки. Кроме того, в комнате «висел» речитатив девушек-корректоров, который не мог заглушить даже бас рыжего майора. Раскаленный жар печи полз по комнате, художник-ретушер торопливо скреб фотографии, которые уже ждал замурзанный цинкограф; приемник передавал без передышки зарубежные фокусы, вольнонаемная старуха из отдела писем безрезультатно пыталась вручить преферансистам свежую почту, а секретарь редакции — аскетически тощий майор, возлежа на широкой тахте, читал английский детектив...

Теперь, много лет спустя, прогуливаясь по тихому курортному городку, Семенов внезапно так ясно увидел себя, молодого, уставшего, в армейской редакции, будто его не отделяло от того вечера несколько десятилетий, как будто и сегодня он был озабочен лишь одним: как побыстрее написать свой очередной очерк и передать его по телеграфу в Москву.

Тогда же в конце концов, убедившись в том, что написать в этой шумной комнате ничего не удастся, Семенов решил диктовать прямо на машинку, и теперь, любуясь уходящим в глубины моря солнцем, он вспомнил, как редактор провел его в маленькую комнату, предупредив по дороге, что предоставляет ему машинку с условием, что он разрешит первую публикацию очерка в их армейской газете. Знакомя Семенова с машинисткой — глазастой смущенной девочкой, редактор добавил, что они центральной газете не конкуренты, так что третья копия будет их. И, обернувшись к машинистке, сказал:

— Варенька, тебе боевое задание: печатать без ошибок.

Девочка встала, как, наверное, вставала, когда к ней на уроке обрадался учитель, и сказала:

— Но я же, товарищ подполковник, не умею печатать под диктовку.

— Ничего, научись, — сказал редактор. — Какая же из тебя редакционная машинистка, если ты не научись печатать под диктовку и уходя, пожелал Семенову бога в помощь. И сколько же раз недобрим словом поминал Семенов и редактора, и бога, которого тот оставил ему в помощь, и Вареньку, которая действительно не умела не только печатать под диктовку, но, видимо, и по написанному тексту

вряд ли печатала быстрее. По десять раз пришлось Семенову повторять чуть ли не каждую фразу, и он с трудом подавлял желание прервать эту пытку, вырвать лист бумаги из каретки и сбегать. Но девочка так умоляюще глядела на него снизу вверх своими огромными синими глазами, что он смирял себя и выдавал ей на пытку следующую строку...

Даже сейчас, через барьер стольких лет, Семенов ясно представил себе, какое отвращение вызвало у него многократно вдальбываемое в Варенькины уши каждое слово очерка.

«Вот кончу диктовать, поблагодарю это страдающее не менее чем я сам юное создание, выскочу из этой камеры пыток и тут же изорву текст на мелкие кусочки»,— утешил он себя. Но когда, закончив работу, Варенька отдала ему странички, пролепетав со слезами в голосе, что просит ее не ругать за возможные опечатки, Семенов заставил себя улыбнуться и поблагодарил за помощь.

— Ничего, все нормально,— снисходительно буркнул он и, вынув из полевой сумки плитку шоколада, протянул Вареньке.

— Что вы, что вы,— покраснела она.— Зачем? Нет, нет, не надо.— Но Семенов еще раз заставил себя улыбнуться и сказал: «Берите, берите». Потом пошел к редактору и отдал ему копию, подумав со злорадной надеждой, что редактор должен будет потратить немало усилий, чтобы прочесть очерк, а когда, добравшись до комнаты репортеров, где по-прежнему шум не утихал, и пристроившись в уголке, он сам перечел свое произведение, напечатанное на пишущей машинке со сбитым, стертым шрифтом, каждая буква которого насквозь прокалывала бумагу, оно показалось ему таким убогим, что он с облегчением выполнил обещанное: изорвал оставшиеся у него экземпляры на мелкие клочки.

В Москву очерк об умелом пулеметчике Урванцеве не попал, но редактор армейской газеты вопреки всем надеждам Семенова не только сумел прочесть неразборчивую копию, но и, как узнал Семенов много позже, напечатал очерк в своей газете.

Естественно, Семенов считал, что его несостоявшийся очерк канул в Лету. И вдруг зубчатая передача воспоминаний пришла в движение и начала втягивать его в свои шестеренки. Что только не делал Семенов, чтобы отвязаться от Урванцева и всего связанного с ним! Как ни старался отдыхать с полной отдачей сил и времени: и ездил на озеро Рицу, и бродил по Ботаническому саду, и посещал все концерты, память прошлого не отступала. И он вновь видел себя в редакции армейской газеты, слышал виноватый шепот Вареньки и свой раздраженный голос, повторяющий бесчисленное число раз каждую фразу.

Семенов вспомнил также, как невыспавшийся, злой не только на Вареньку, но и на всех сотрудников газеты он ранним утром уехал на редакционной машине, развозившей по дивизиям свежую газету.

Он вспомнил, как слез с машины в расположении какой-то артиллерийской части, легко нашел штаб и с удовлетворением узнал, что находится у дальнбойщиков, как называли в пехоте артиллерию дальнего действия, Семенову давно уже хотелось написать о контрбатареинной стрельбе, но теперь, когда тема сама шла в руки, беседовать с артиллеристами ему не хотелось, и об этом он и размышлял по дороге на КП первого дивизиона, где находился командир полка. Его угнетала мысль, что он обидел Вареньку, не сумев скрыть от нее кипевшее в нем раздражение.

Какие пути привели в армейскую газету эту девочку, печатающую в крошечной каморке двумя своими тоненькими пальчиками рассказы о воинских подвигах и статьи о боевом опыте, встречающую, наверное, покорно все претензии громогласных фронтowych репортеров?

Он ясно представил себе, как при очередном переезде редакции Варенька сидит на вершине тяжело груженной полуторки, в своем легоньком гражданском пальтишке, держа на худеньких коленках дряхлый «ундервуд» с его западающими буквами, пробивающими насквозь бумагу. Подкармливают ли ее ребята? Ведь на вольнонаемном рационе даже ей прожить трудно. Наверное, и школы не успела окончить, а теперь ждет весточек от мамы, которая не устает напоминать ей в каждом письме о том, как нужно вести себя среди мужчин, как следить за собой и своим здоровьем. И он посмел обидеть одинокую, покорную девочку! При мысли об этом Семенов испытал острое желание любыми средствами добраться до редакции и прежде всего извиниться перед Варенькой и к тому же отобрать у редактора копию своего очерка. Может, очерк не так уж плох, и он просто выместил на нем свое раздражение? Нет, не надо себя обманывать: когда он злился на Вареньку, то, наверное, лишь пытался оправдать свою собственную бездарность. Но Семенов тут же одернул себя: «Завел сантименты в пяти километрах от передовой. Давай работай!» И сейчас, спустя столько лет, принимая солнечную ванну, он снова рассердился на себя за то, что позволил себе вернуться в то далекое, запретное прошлое, которое, как казалось ему, навсегда ушло из памяти. С поразившей его четкостью вспомнил Семенов и тот майский день сорок третьего года, когда пытался заняться новым материалом, а для этого вошел в контакт со старшим лейтенантом Галкиным, начальником планшетной группы, от работы которого зависела эффективность контрбатареинной стрельбы.

Разобраться в сложном умении артиллерийских разведчиков Семенову было непросто, и ему приходилось переспрашивать у Галкина по несколько раз одно и то же. Все это настолько напоминало поведение Вареньки при печатании его текста, что вызывало раздражение к самому себе.

В блиндаж, врытый в склон лесистой высоты, его привел сам командир артиллерийского полка и посоветовал поближе познакомиться с «этими кротами», как он назвал звукометристов. Под светом

ярких электрических ламп за большим столем в абсолютной тишине работали пять человек, и этот глубоко вкопанный в землю блиндаж казался совершенно изолированным от всего, что волновало и огорчало Семенова там, на поверхности земли. Но сюда в блиндаж тянулись провода с переднего края, от установленных там мощных звукоприемников, и центральный аппарат, стоящий в углу блиндажа, улавливал каждый звук, доносящийся с вражеской стороны. С легким шуршанием ползла из этого аппарата, напоминаящего телеграф, широкая бумажная лента, и тут же острые гребни звуковых волн дешифровались, звуки превращались звукометристами в цифры, и немецкая батарея, укрывшаяся за высотой, в семи километрах от линии фронта, становилась целью № 126 на карте командира полка. Но даже эта бесстрастная борьба звуков, так непохожая на грубую, кровавую схватку, бушевавшую на поверхности земли, не приносила Семенову успокоения, а уж как подступиться к этой необычной теме, он совсем не знал. Он все еще слышал робкий, прерывистый стук старенького «ундервуда». Далась же ему эта беспомощная девчонка! Сперва она загубила его очерк о замечательном пулеметчике, а теперь мешает собрать материал об артиллеристах!

Так, в попытках снова разозлиться на Вареньку и прошел для Семенова тот долгий и такой странный день. Когда за ним заехал на звукометрическую батарею командир полка и они поднялись наверх, уже стемнело. В весеннем лесу тоже царила тишина, которую не смогли нарушить даже соловьи, и Семенов подумал: «Какие же звуки расшифровывают сейчас там внизу «подземные кроты»? Записывают словесные рулады?»

В лесном домике их ждал обед. У крыльца стоял командирский «виллис», и дежурный радист сидел в нем, не снимая наушников. Как оказалось, командир полка никогда не терял связи со своими дивизионами. И даже когда он принимал пищу или смотрел во втором эшелоне фильм, его радист сидел у включенной рации на приеме. Как интересно было бы описать жизнь командира дальнбойного полка! Но мысли Семенова в этот тихий весенний вечер были заняты не седым тридцатисемилетним полковником, а той самой глазастой девочкой, которую он так жестоко обидел. Вновь и вновь виделась ему испуганное лицо девушки, ее глаза, дрожащий голос, которым она боязливо и виновато переспрашивала почти каждое слово и пыталась отказаться от плитки шоколада. Она, несомненно, считала, что не заслужила подарка.

Неожиданно среди ночи вокруг домика стали рваться немецкие снаряды. Семенов приподнялся с постели. Командир полка был уже на ногах:

— А, Петр Алексеевич! Не дали поспать? Звукометрическая разведка работает не только у нас!

Выйдя из домика под утро, когда совсем рассвело, Семенов увидел, что лес вокруг изломан, земля изрыта воронками.

— Нет, плохо все-таки у них работает звукометрическая разведка! — злорадно отметил командир полка. — Мы бы их штаб живым не выпустили!

Вспомнив это, Семенов подумал: «Да, мы тогда чудом остались живыми». А потом он еще подумал о том, что о звуковых разведчиках и их командире он тогда так и не написал, легко себя убедив, что после двух бессонных ночей ему не справиться с темой. К тому же ему не терпелось скорее вернуться в редакцию армейской газеты. Но, добравшись на машине артполка до штаба армии, в политотделе он нашел телеграмму, срочно вызывающую его в Москву...

Так и не удалось Семенову замолить свои грехи. А когда он увидел девочку снова?!. И все же... При чем здесь, казалось бы, очерк о пулеметчике Урванцеве? В истории его встречи с Варенькой? Как ни странно, а все оказалось взаимосвязанным, а потому бередящим душу.

...Когда спустя три месяца, уже за Орлом, Семенов заехал в редакцию знакомого ему армейской газеты, рыжий майор принял его как старого знакомого и, оглушив своим басом, потребовал, чтобы Семенов объяснил, почему так долго не появлялся и почему так мало писал об освобождении Орла. А ведь они его внимательно читали...

Семенов слушал его рассеянно и ждал момента, чтобы задать интересующий его вопрос: сможет ли он у них в редакции перепечатать репортаж о брянских партизанах, и выделяют ли ему ту самую машинистку, что печатала его очерк.

Наконец он спросил майора, но тот не обратил внимания на последнюю часть вопроса, провел его в комнату, где сидела за машинкой пожилая женщина. Она прекратила работу и повернулась к вошедшим.

— Вот, Зинаида Борисовна, прошу вас принять товарища Семенова, московского корреспондента и нашего автора. Нужно перепечатать его рукопись, — пробасил майор.

— Ну как же, сделаю, — спокойно отозвалась Зинаида Борисовна и, уже обращаясь к Семенову, спросила: — Вы дадите рукопись или будете диктовать?

— Дам рукопись. — Семенов вынул из полевой сумки вырванные из блокнота листки с текстом и передал машинистке. — Думаю, почерк разберете?

— Ну что же, работайте, — покровительственно предложил майор и, слегка прихрамывая, вышел из комнаты.

«Что же с ней случилось?» — растерянно спрашивал себя Семенов, никак не решаясь спросить у Зинаиды Борисовны об исчезнувшей Вареньке.

Наконец он решил.

— В прошлый раз мне помогала другая машинистка, — сказал он, как бы мимоходом. — Ее звали Варенька.

— Я работаю в политотделе армии,— сказала Зинаида Борисовна.— К журналистам меня прислали временно вместо заболевшей машинистки.

— Ах вот оно что,— выдохнул Семенов.— И что же она, в госпитале?

— Ну что вы,— усмехнулась Зинаида Борисовна,— это же не ранена, а просто грипп. Отлеживается здесь, в редакции.

Она говорила, не отрываясь от «ундервуда». Резко крутнула каретку, вынула последнюю страницу:

— Ну вот и все! — и протянула отпечатанный текст Семенову.

Поблагодарив, Семенов спросил:

— Может, вы знаете, где узел связи?

— В соседней деревне. Километра три. А вы с машиной? Может, и меня добросите.

— Увы, я безлошадный. К тому же у меня еще дела в редакции. Очень сожалею, что не могу быть вам полезен. Вы прекрасно печатаете.— Семенов вышел на улицу с мыслью о том, что ему непременно нужно отыскать Вареньку, а она стояла в дверях автобуса, припаркованного к стене хаты, в которой разместилась редакция.

Увидев Семенова, Варенька неловко спрыгнула на землю, да так и осталась сидеть на корточках, глядя снизу вверх, как она смотрела на него, сидя за машинкой.

— Это вы?

— Я...

— Подождите, я сейчас... Варенька поднялась и вбежала в дом. Теперь Семенов заметил в дверях автобуса человека в гимнастерке без знаков различия и в гражданских черных брюках.

— Вы Семенов? — спросил он.— Варя ваш очерк, напечатанный в нашей газете, уже хотела вам в Москву отправлять... А я радист. Вместе с редакцией еду,— представился человек.

Тут же вернулась Варенька и протянула ему газету «На разгром врага».

— Возьмите. Вот очерк, который я вам печатала. Помните? — И, озаря Семенова своими глазами, добавила.— А я все же наловчилась под диктовку печатать. Газету я для вас хранила...

Помнится, тогда он сунул газету в карман шинели, даже не взглянув на очерк. И вот так случилось в жизни, что Урванцев вернулся с войны не один: он привел с собой худенькую девочку с своими глазами. Ту самую Вареньку, о которой Семенов не мог не вспоминать, не думать о ней. А тогда, сунув газету в карман шинели, он поднялся вслед за Варенькой в автобус, в котором жил и работал редакционный радист. В автобусе все говорило об отшельническом быте хозяина: забытый котелок с кашей, неприбранная кровать, серая тряпка, которой был почему-то целомудренно прикрыт радиоприемник. Они сели. На столике стоял котелок с холодной кашей.

Варенька пыталась его угостить этой вкусной кашей... Это ничего, что она холодная. Так даже вкусней. Потом она рассказывала ему содержание всех его корреспонденций, опубликованных за это время в его газете. Радист сидел в сторонке и молчал.

А что же было потом? Потом Варенька спросила, не надо ли ему что-нибудь перепечатать. И когда он сказал, что его репортаж уже перепечатала политотдельская машинистка, ужасно расстроилась.

— Ну да, конечно, вам не нравится, как я печатаю,— сказала она,— а я за эти месяцы кое-чему научилась.

Семенов ее утешал и говорил, что виновата во всем ее болезнь. Неожиданно Варенька поднялась:

— Вам же, наверно, надо срочно отправить в Москву материал? Пошли, я вас на узел связи провожу...

Семенов вспомнил, как они шли, не торопясь, по лесной песчаной дороге жарким августовским днем и он расспрашивал девушку о том, как ей живется в редакции и получает ли она письма из дома. Он же ничего не знал о ней, ровным счетом ничего, кроме того, что она совершенно не умеет печатать под диктовку. Варенька отвечала и тут же спрашивала его. Так, перебивая друг друга, они рассказывали о своих делах... А может, чувствах?! Работается ей ничего, только уж очень шумные и нетерпеливые журналисты. Если бы не радист, ей бы не с кем было отвести душу. Писем из дома она не получает, потому что у нее нет дома. Родителей, оказывается, не знала: выросла в детском доме. Где теперь этот ее дом, не знает. Его вывезли из Москвы осенью сорок первого. А он и до войны работал в той же газете, что и сейчас. Разъездным корреспондентом. Очень развешать любил, потому что за спиной семьи у него не было: мать с сестрой жили в Краснодаре. Что с ними, не знает.

Варенька просила объяснить ей, как Семенов собирает материал для своих репортажей и очерков, а он хотел знать, каким образом она оказалась в военной редакции на фронте. Прежде чем она ему этого не расскажет, она больше ничего от него не услышит. Из детского дома перед самой войной она пошла учиться в школу машинописи, надо было начинать самостоятельную жизнь, а когда началась война, решила, что будет радисткой. Она безуспешно обивала пороги военкомата. Потом случайно узнала, что представитель армейской газеты набирает штат вольнонаемных сотрудников и ищет машинистку. Детдомовская учительница, у которой жила Варенька, посоветовала ей обратиться в редакцию. Они пришли в соседнюю деревню, и Варенька подвела его к двухэтажному дому, в котором размещался узел связи. На обратном пути она не позволила ему отмолчаться. Пришлось рассказать о работе военного корреспондента, и он, по сути, исповедался ей, как никогда и никому не раскрывал свою душу.

Семенов вспомнил, как после этой прогулки с Варенькой он боялся

получить телеграмму, отзывающую его в Москву. А может, и не вызовут? Ведь фронт, в который входила армия, наступал, приближаясь к Брянску. Корреспондент на месте в таком случае важен редакции. Так что могут и не отозвать. Работы у него прибавилось. Варенька провожала его, когда могла, на очередное задание. И ждала его возвращения. Волновалась, если он задерживался. Всякий раз, вроде бы шутя, решительно требовала от него беречься на передовой. А потом интересовалась тем, что он увидел, что его волновало.

При переездах редакция устраивалась иногда более просторно, иногда теснилась, но у них с Варей было постоянное место встречи — автобус. Его хозяин — этот нелюдимый, странноватый человек — всегда был им рад. По вечерам они нередко слышали монотонную диктовку московских дикторов замедленных передач, в которых каждое слово отслоено от соседнего мимолетной паузой. И это напоминало Семенову его первую диктовку Вареньке, в чем он не признавался девушке.

Попискивал приемник, шурился карандаш радиста, а они беседовали шепотом, чтобы ему не мешать.

Радист, живший до войны в Москве, в коммунальной квартире в запущенной комнатенке, видимо, воспринимал как коммунальную жилплощадь и редакционный автобус. Тут он проводил все время, чаще за радиоприемником. Он даже не ходил в столовую, а еду приносил в котелке. Только к вечеру он выбирался в редакцию, чтобы передать секретарю очередную сводку, и вновь возвращался в свой автобус. Так он и жил, словно не замечая событий, бушевавших в мире, хоть и узнавал о них первым. И немцы были для него всегда рядом — стоило ему лишь перевести рычажок приемника.

Этот человек почему-то прикипел своим, казалось, равнодушным сердцем к маленькой машинистке, опекал ее, защищал от обвинений репортеров, ругающих ее за ошибки и нерасторопность. Он и Семенова допустил в свой мир, наверное, лишь потому, что этого хотела Варенька. Предоставив им свой автобус, взамен требовал лишь одного: тишины. И это условие устраивало Вареньку и Семенова, вполне устраивало. Они шептались под речитатив очередной замедленной передачи, делились своими новостями. Особенно тогда, когда Семенов возвращался с задания. А как она гордилась им, прочитав в газете его очередную корреспонденцию!

Семенов вспомнил, как советовался с Варенькой, оставлять ли ему в очерке рассказ о новом пополнении, пришедшем в обескровленный полк. Пополнение встречали с духовым оркестром и под звуки вальса, командир полка по справкам о ранении выдавал солдатам медали, а тех, у кого справок не было, осматривал врач и выписывал им новые справки. Иногда Семенов рассказывал ей об интересных, как ему казалось, судьбах солдат. Рассказал ей и об одном музыканте военного духового оркестра, который жаловался ему, что уже год не играл на трубе, так как оркестр использовали в качестве похоронной

команды. «У меня мозоль с губы сошел, — сокрушался музыкант, — я теперь верхней ноты, наверное, не возьму». И Семенов весело прокомментировал это признание: как же он с мозолью на губе может целоваться. Комментарий вызвал у Вареньки укоризненную улыбку.

Словом, для него стало необходимым делиться с Варенькой всем, что видел или слышал от других. Однажды поведал ей о маленькой черноволосой женщине, младшем лейтенанте, которая пришла к начальнику штаба дивизии подписывать железнодорожный литер. Она ехала рожать и вместе с ней ехали еще шесть человек. А начальник штаба сокрушался по этому поводу: за одиннадцать месяцев отбыли пятьдесят женщин, ведь акушерки в медсанбате по штату не положены. Варенька слушала его, не перебивая, а потом вдруг спросила: «И не стыдно?» И нельзя было понять, то ли она сердится на него за этот рассказ, то ли на легкомыслие женщин.

В редакции секретов нет. И все знали об их отношениях. Редактор никогда не возражал против того, чтобы Семенов диктовал Вареньке свои материалы.

Именно в тот вечер, шепчась, как обычно в автобусе радиста, Семенов спросил Вареньку, почему бы и им не сыграть свадьбу в Брянске, как о том объявили им поэт и медицинская сестра?!

Сколько лет прокатилось с того вечера?! Он научился и во сне не видеть Вареньки. Как трудно ему было этого добиться! И вот теперь все возвращалось как будто бы вновь... И начинается с одной из поездок к партизанам, в Брянские леса. Именно здесь он встретился с партизанским пулеметчиком и решил рассказать читателям о мастере пулеметного огня, представив себе, как обрадуется Варенька такому интересному материалу.

Все было именно так, как он себе представлял. Получился хороший очерк «Урок пулеметной стрельбы». Варенька печатала его, затаив дыхание, и только изредка поднимала на Семенова свои удивительные глаза.

«Вот это и есть ручной пулемет — Дегтярев-пехотный, а сокращенно ДП, — диктовал он ей тогда. — Чибинов снял тяжелое тело пулемета с ремня и держал его в левой руке. Что же нужно прежде всего знать «ручнику», ну то есть тому, кто с ручным пулеметом воюет? А вот что: у оружия этого характер вспыльчивый, а если еще и пулеметчик хладнокровия не имеет, тогда все на ветер».

«Вот глядите! — Чибинов взял диск и одним движением посадил его на затворную раму. — Нажму спусковой крючок и сорок семь пуль как не бывало. Могу шестьсот пуль в одну минуту выпустить». (Он не глядел на Вареньку, легко примериваясь к ритму ее движений, только иногда, не дожидаясь ее просьбы, он повторял отдельные фразы, хоть она его об этом и не просила.) «А польза от этого какая? — спросил Чибинов. — Второй номер с ног собьется, диски не успеет подносить — раз. Ствол раскалится, силу свою потеряет — два. Враг по длинным

очередям пулемет засечет — три. А немцы живы — четыре. Нет, тут нужно каждой пуле счет вести! — И Чибинев, сняв диск, бережно положил его рядом с собой».

— Я не быстро? — остановился Семенов. Но Варенька вместо ответа на вопрос сказала: — Ну и орла вы нашли?! — В голосе были восторг и неподдельное восхищение партизанским пулеметчиком...

А что было потом, Семенову не надо было вспоминать. Он всегда это помнил, оказывается. Вернувшись в редакцию из освобожденного Брянска и, как всегда, бросившись разыскивать Вареньку, он узнал от встретившего его радиста, что при переезде на новое место машины редакции были обстреляны каким-то немецким отрядом, оказавшимся в окружении...

— Я ее просил сесть в автобус, — сказал радист, но она отказалась. Сказала, что поедет на том, на чем ей положено... Он не договорил, всхлипнув. По щекам потекли слезы. Семенова пронзила мысль о вопиющей нелепости случившегося. Варенька войну знала только по его корреспонденциям. И вот ее нет, а он — вот он, живой, здоровый.

В тот же вечер, собравшись покинуть редакцию «На разгром врага», он сжег все, что Варенька хранила для него. Все, кроме очерка о пулеметчике Чибинева. А уже в Москве уничтожил все остальное, что напоминало ему о Вареньке, — записные книжки, дневники, фотографии. Ему казалось до сих пор, что он добился своего, навсегда вычеркнул из памяти свою боль — Вареньку. А вот, вишь ты, получилось все не так. Даже след остался от тех лет: копия последнего продиктованного им Вареньке очерка под названием «Урок пулеметной стрельбы» — пять страничек пожелтевшего срыва, строчки, пробитые неровными буквами старенькой машинки, строчки, которые он так часто перечитывал, что в конце концов запомнил их наизусть. И вернувшись из Гагр, Семенов, разыскал эти священные для него пять страничек и прочел их заново, словно искал совета у пулеметчика Чибинева. Потом отправился в архив, нашел в одном из майских номеров за 1943 год армейской газеты «На разгром врага» свой очерк об Урванцеве, снял с него фотокопию и отправил ее по записанному адресу.

Так Семенов расстался с пулеметчиком Урванцевым, но Варенька осталась с ним, ведь он только теперь понял, какой хороший совет дал ему пулеметчик Чибинев: никогда не держать диск пустым. А разве память не тот же пулеметный диск? Сколько пуль он вмещает? 47? Ну что же это значит лишь одно: теперь он будет ежедневно сорок семь раз вспоминать Вареньку. Вот в чем для него оказался урок пулеметной стрельбы...

ФАНТАЗЕР

Война не застала Игоря Войкова врасплох: он успел с отличием окончить пехотное училище, ввинтить в петлицы своей гимнастерки по два кубаря. Товарищи по курсантскому взводу иначе не называли его, как «полководец».

Еще в юношеские годы Игорь Войков решил стать кадровым военным, хоть родился и вырос в совершенно штатской среде — отец был учителем, мать пианисткой. Теперь он готовился принять взвод, но на его беду в училище он отличался не только любовью к военному делу, но и к делу литературному: с успехом напечатал несколько рассказов о жизни курсантов в окружной газете. Все объяснялось просто: Игорь Войков был романтиком военного быта, и его поэтическая душа рвалась к самовыражению. Если бы он знал, чем это ему грозит, то, наверное, не взялся бы за перо... Сразу после торжественного выпуска его вызвал комиссар училища и сказал, что, учитывая его литературные наклонности, он направляется для прохождения службы не в воинскую часть, а в окружную военную газету, на страницах которой так успешно выступал.

Молоденький лейтенант прошел достаточно хорошую военную выучку, чтобы позволить себе хотя бы самое робкое возражение, но своей растерянности скрыть не мог, и комиссар, чувствуя его состояние, дал возможность Игорю высказать свои доводы. Выслушав молодого командира, комиссар спокойно заметил:

— Армейский газетчик — тоже должность строевая. Так что желаю вам успеха!..

Через несколько дней Игорь Войков предстал перед редактором окружной военной газеты, полковником с жгучим цыганским лицом и тонкими губами, в которых тревожным огоньком поблескивал золотой зуб, и тот спросил после того, как выслушал представление:

— Ну что, лейтенант, хотите быть журналистом?—И, оглядев внимательными глазами хорошо отлаженную фигуру молодого офицера, спросил еще: — Или не очень хотите? Мечтали о строевой, а тут заметки, читательские письма... Так ведь? Вы что, уже пристреливали перо?

— Пристреливал... у вас,— признался Войков.

— Так значит, это мы виноваты в том, что так складывается ваша военная судьба?.. Но я уверен: пройдет немного времени, и вы поймете, что она у вас складывается хорошо.

Уже потом Игорь узнал, что редактор сам обратился с просьбой к командованию училища откомандировать в газету способного лейтенанта. Странно, но тогда Войков не оценил решения редактора, а стал считать его виновным в его служебной неудаче. И вместе с тем он чувствовал себя счастливым, когда получал редакторское одобрение за подготовленные или опубликованные в газете материалы.

Больше того, сердце наполнялось радостью, когда редактор ставил в пример его умение показывать армейские будни, со знанием дела рассказывать о делах командирских и о заботах старшинских. Прошло полгода, и Игорь уже не жалел о своей неудавшейся строевой карьере.

Когда началась война, Игорь попал в первый же состав армейской газеты, который самолично отбирал редактор. В конце июля их редакция оказалась под Брянском, но и здесь, на фронте, Войков не только не уронил славу первостатейного газетчика, но и умножил боевыми материалами. Его не раз собирались переводить во фронтовую газету, а «Комсомольская правда» по военному телеграфу несколько раз заказывала ему боевые корреспонденции...

Из окружения Войков выходил вместе со штабом армии. Во время прорыва гудериановских танков он оказался в передовых частях и в редакцию вернуться не успел. И явился в нее только под Щиграми и тут же вывалил из карманов обгоревшей и протреленной шинели кипу исписанных блокнотов, уселся за стол и стал разбираться в записях. Несколько дней подряд он строчил заметки, статьи, очерки и рассказы для газеты, возобновившей свой выпуск, портфель редакционный был пуст, и его материалы были крайне нужны. Закончив работу, Игорь по просьбе товарищей рассказывал им о своих фронтовых приключениях, о том, что пришлось пережить, пробираясь к своим, а оставаясь наедине с писателем газеты, углублял рассказы такими деталями, которые вызывали у соседа одобрительные оценки, хотя вызвать его на это было очень непросто.

Писатель редакции (имелась в военных газетах такая штатная должность) был известным военным публицистом, глубоким знатком военной истории, Клаузевица он цитировал, не запинаясь, с английским проповедником танковой войны Фуллером вел долгие заочные споры. Все это, конечно, интересовало Войкова, а писатель, которого даже наборщики и корректорши называли не по званию, а по имени-отчеству — Василием Васильевичем, с ним отводил душу, потому что с его широким военным кругозором делать ему в армейской газете было нечего. Редактор на него косился, держал на передовицах и в части отпускал неохотно — какая от него польза.

Трудно было вообразить себе двух более непохожих людей. Один стройный, по-военному подтянутый, романтик ратного труда, неутомимый военный репортер, другой — маленький, вдвойне неуклюжий в своей гимнастерке, торчащей горбом на сутулой спине, и в пилотке, насаженной как-то косо на большую бугристую голову. Один фаворит редактора, другой претендент на отправку из газеты. Редактор не знал, как от него избавиться. Полковник не терпел на войне легкомысленных авантюров, за которые иногда влетало Войкову, но и не собирался превращать армейскую газету в теоретический вестник.

Вот почему он отверг просьбу Войкова разрешить ему полет к партизанам, а направил его в тыл армии, чтобы выяснить, почему горячую пищу не подвозят на передовую. И одновременно перечеркнул красным карандашом статью, в которой Василий Васильевич доказывал, что интендант — главная фигура на войне. Но когда Войков решил найти сочувствие у сокрушенного своей очередной неудачей писателя, тот стал на сторону редактора.

— Нет, друг мой, война не игра в солдатики. Об этом забывать опасно, а ты, к сожалению, иногда забываешь, — сказал он Войкову. — Вот ты признался, что многое додумал в репортаже о разведчиках. А такого допускать в журналистике нельзя. Тут подстерегает опасность каждого: сегодня додумал, завтра придумал, а послезавтра вообщем сочинил то, чего не было. Это скандал!

— Вы несколько драматизируете, — ответил Войков. — Но ведь факт, из наших фронтовых героев можно выжать информации лишь на политдонесение, в газете нужен яркий материал. Как же тут без выдумки?

И Войков по-прежнему уходил на задание, возвращался в редакцию, продиктовывал материал в номер и вновь мчался либо к штурмовикам, либо к пехотинцам, саперам или артиллеристам, получив новое предписание. Он везде чувствовал себя дома; и в пулеметном блиндаже, и в палатке медсанбата. Вот только к танкистам ездить не любил.

— С ними никак дружбы не заведешь, — объяснял он. — Только пристроишься, а их уже нет — на другой участок перебросили. К тому же нет в танке местечка для газетчика, а с брони что увидишь. Да и там тесновато: пехота едет.

С самым большим удовольствием рассказывал Войков писателю об артиллеристах.

— Вот уж за кого придумывать ничего не надо, — объяснял он свое пристрастие. — Образованный в своем деле народ, а лучшего рассказчика, чем артиллерийский офицер, не найдешь. И серией очерков об артиллерии дальнего действия под общим названием «Бьет ДД» зачитывалась застывшая в обороне армия.

Неутомимость Войкова была поразительной. Казалось, он один смог бы заполнить все четыре газетные полосы, а все, что не попадало в его публикации, «на всякий случай» оседало на страницах его записных книжек. Эти записи он никому не читал, даже Василию Васильевичу, и блокноты складывал в брезентовый мешок, в котором хранилось все его фронтовое имущество — три пары белья, две пары фланелевых портянок, письма от родных, трофейный несессер и томик Киплинга. Мешок он тщательно упаковывал каждый раз, когда отправлялся в очередную командировку, потому что никогда не знал, застанет ли редакцию на прежнем месте. С собой же брал только поле-

вую сумку, в которой умещались бритвенный прибор, обойма ТТ, пара теплых носков, устав пехоты и стопка чистой бумаги.

И перед той, оказавшейся роковой, последней командировкой Войков так же тщательно упаковал свой вещевой мешок, полевую сумку, попарился в бане и на прощание посоветовал Василию Васильевичу подумать о передовой статье про истребителей танков.

— От этой темы нам с вами никуда не уйти, судя по заданию, которое я получил, — сказал он писателю. — Пока я за материалом, вы подумайте со всех сторон.

Через три дня он появился в редакции, усталый, чем-то озабоченный, молчаливый.

— Тяжело там... Гибнут ребята... Танки душат, — сказал он, — и нет от них защиты. Артиллерии маловато, а солдаты еще не привыкли гранатами и бутылками отбиваться. Мне, знаете, какое задание дал редактор? Догадываетесь? Вот-вот. Я вам не случайно говорил об истребителях танков. Приказано было найти такого истребителя, который по крайней мере десять танков поджег.

— Ну и как, нашел? — спросил Василий Васильевич.

— Нашел, — нехотя ответил Войков. — Да найти полдела. А мне, помимо этого, статью истребителя надо представить. На целую полосу. Редактор уже и название дал: «Как я истребляю танки». Коротко и ясно.

— Ну, и за чем же дело стало? — спросил Василий Васильевич. — Название есть. Автор статьи есть. Кто же он?

Но вопреки ожиданию Войков не стал описывать своего нового героя и только сказал:

— Ничего, мужик, стоящий.

Статью истребителя танков сержанта Павла Поцелуева он предоставил редактору в срок. Было в ней, как и положено по формату газеты, восемь полных страниц, и на этих страницах Поцелуев сумел содержательно и доходчиво рассказать о том, как ему удалось подбить одиннадцать танков, а самому остаться целехоньким. Написанная броским, лихим языком, под Суворова, статья Поцелуева была принята редактором на ура и сразу же опубликована в газете, Войкову объявлена благодарность, а начальник издательства получил приказ срочно издать статью брошюрой. А еще через две недели, вернувшись из очередной командировки, Войков узнал, что Москва потребовала на Поцелуева все данные для представления его к званию Героя Советского Союза.

Узнав об этом, Войков отозвал в сторону Василия Васильевича, который пытался поздравить его: ведь там, где засветилась Золотая Звезда одного, и Красная Звезда может оказаться на груди другого, — и признался в том, что Поцелуева нет и никогда не было. Отчаявшись найти истребителя танков в части, едва удерживающей оборону

с необстрелянным, плохо обученным составом, он сам придумал Поцелуева.

Услышав об этом, Василий Васильевич вздохнул:

— Вот она, ваша игра в солдатики, к чему привела! Придумывали лихих разведчиков, артиллеристов-мудрецов, а теперь сотворили бесстрашного истребителя! Ну что же, придумайте теперь данные для награды Поцелуева.

Подробности разговора с редактором Войков не сообщил. Сказал только, что полковник велел ему сдать офицерское удостоверение и никуда от редакции не отлучаться. А на следующий день положил перед Войковым экземпляр брошюры «Как я истребляю танки» и предписание явиться в запасной полк.

— Тебя бы в военный трибунал, — сказал редактор, — но, учитывая давнее желание стать строевым командиром, посылаю в запасной полк. Думаю, что желание твое исполнится и ты сможешь на деле проверить правильность советов сержанта Поцелуева.

Через неделю Войков передал Василию Васильевичу с оказией письмо, в котором сообщал, что получил назначение командиром взвода. А еще через месяц, уже к концу зимы, Василий Васильевич узнал, что лейтенант Войков командует ротой.

С тех пор след Войкова пропал. Дивизию, в которой он воевал, перебросили в другую армию, и от Войкова никаких сообщений ни с оказией, ни полевой почтой не поступало. Спустя год после его внезапного крушения редактора вызвали в политуправление фронта и спросили, как он смотрит на возможность возвращения в газету капитана Войкова.

Однажды к вечеру у домика, в котором размещалась редакция, остановился «виллис» начальника политуправления фронтом, и вслед за генералом из машины вылез похудевший, но такой же подтянутый и даже франтоватый Игорь Войков, со своим неизменным брезентовым мешком в руках.

Вся редакция сбежалась к крыльцу дома, и лишь Василия Васильевича не было: после дежурства ночью он отдыхал. Войков прежде всего спросил, жив ли писатель.

О разговоре с генералом и редактором Войков Василию Васильевичу сообщать не стал. О себе рассказал скупо. Командовал ротой, был ранен на реке Зуше. И вот возвращен в газету.

— Так что событий произошло не очень много, — добавил он. — Жив-и на том спасибо. Серьезно ли меня поцарапало? Так себе — осколком в грудь. Ну а вы, Василий Васильевич, примете ли меня снова на постой?!

Когда они пришли в дом и Войков снял шинель, Василий Васильевич, заметив Красную Звезду на его груди, спросил с долей иронии: «Танк подбил?», но Войков ответил серьезно, что танков не

подбивал. Когда же укладывались, писатель заметил на груди Игоря след ранения, встревожился:

— Да тут же сердце. Как же ты живым-то остался?

— Сам не пойму,— улыбнулся Игорь.— А просто пуля в сердечной сумке застряла.

— Как застряла? И сейчас там?

— Там,— подтвердил Войков.

— И не демобилизовали?

— Хотели. А я вот не только в армии остался, но и в редакцию вернулся.

Василий Васильевич попытался вытянуть Войкова на рассказ о его жизни, но не смог. Игорь, накрывшись одеялом, спокойно сказал: — Знаете, я стал понимать, почему солдаты так скупы на слова. Если бы до меня добрались газетчики, я им ничего не смог бы рассказать...

Отмеченные в Войкове перемены не сказались на его работе. Он был по-прежнему неутомим, легок и оперативен в выполнении заданий. «Мы же армейские газетчики,— любил говаривать он.— А газетная работа тоже строевая». При этом вспоминал строгого комиссара, наставлявшего его на жизнь журналиста после окончания училища.

Любил он слушать Василия Васильевича о его встречах с начштаба армии, которого он помнил по академии Генштаба, где Василий Васильевич одно время работал в библиотеке. Поражали Игоря точные и интересные суждения писателя о предстоящих событиях, сопровождаемые обычно уверением, что это лично его «стратегия», не имеющая под собой никаких данных штаба. Руководствовался он только логикой и фантазией. А они подсказывали ему, что немцы постараются взять реванш за Сталинград под Курском.

Пока их армия стояла в обороне, редактор от него требовал рассказов о подвигах снайперов и разведчиков, а когда началась битва за Орел, когда части покатались к Брянску, Войков, мотаясь по частям, описывая действия пехоты и танков, воздушные бои и труд санитаров и хирургов, опомнился только в тот день, когда, заскочив на «полчасика» в редакцию, узнал, что их армия «сматывает удочки». Куда? Даже Василий Васильевич не мог ответить. Остановились только за Торопцом, северным дощатым городком, где писатель шепнул Войкову, что ось их движения—Великие Луки.

— Понимаешь ли, что такое Великие Луки? — допытывался он у Войкова. Тот пожимал плечами:

— Наверное, Великие Муки. Так, кажется, солдаты прозвали этот городок?!

— Великие дела, вот что это значит. Ты на карту посмотри — что за Луками?

— Ну, Новоскольники.

— А за ними?

— Старая латвийская граница.

— И тебе этого мало?

— Как это у вас стратегов все быстро делается,— улыбнулся Игорь.— Уж очень вы скоры на ногу. Вы попробуйте дошагайте до этой бывшей границы.

Войков оказался прав. Вскоре после их разговора с Василием Васильевичем о боевых перспективах редактор вызвал Игоря и, как всегда, с едкой иронией сказал:

— Ну вот что, Войков. Поскольку вы теперь самый опытный и обстрелянный журналист нашей редакции и времена ваших детских забав позади, будете заведовать фронтovým отделом. Вам, как говорится, и карты в руки. Да, я имею в виду еще и полевые карты. Будете регулярно обобщать боевой опыт.

— Но как же я буду обобщать, если засяду в редакции?

— Ну почему же? И вы будете бывать на передке. Но уж не столь часто. А с подчиненных, думаю, вы сможете спросить всерьез.

Когда фронт рухнул, когда кончилось долгое топтание у Невеля, Войков вынужден был оставаться на месте. С болью в сердце (в прямом и переносном смысле этого слова) провожал он в командировку журналистов своего отдела, давал им задания, назначал сроки возвращения, правил привезенные ими материалы и давал новые задания.

Как завидовал Войков корреспондентам, этим редакционным бродягам, с какой жадностью слушал он их рассказы.

Но внешне он был невозмутим, подтянут, деловит, и редактор с удовлетворением посматривал на него, довольный своим выбором. Лишь Василий Васильевич понимал, что Войков в общем-то не на своем месте, хотя и не высказывал своих сомнений.

Преращение искателя фронтových приключений в невозмутимого начальника фронтového отдела было тяжким для Игоря. И когда Войков в самый разгар наступления попросил у редактора разрешения выехать в командировку в действующие части, Василий Васильевич внутренне улыбнулся. Да, человек шел на свое дело.

Войков появился в редакции уже после взятия Мадоны, маленького латвийского городка, оглядел нарядную виллу, где разместилась редакция, и пошел докладываться редактору, а вернувшись от него, никуда не стал торопиться и, встретив удивленный взгляд Василия Васильевича, объяснил:

— Приказано отписаться и вернуться к руководству отделом.

— И ты на это способен? — спросил Василий Васильевич.

— Что же делать? Приказ есть приказ — и точка.— Войков отписывался, а Василий Васильевич старался вытянуть у него подробности увиденного и услышанного. И вдруг Войков предложил ему послушать записи, сделанные для себя.

Войков стал читать, и вдруг обратил внимание, что Василий Васильевич хмурится. «Странно,— подумал он.— Что могло его

смутить?» Откровенно говоря, в своих записях он не видел ничего такого, что могло бы раздражать писателя.

«На покатых лесистых склонах белые и розовые домики Мадоны словно созданы фантазией Грина,— читал он.— По такому городку с таким поэтичным названием обязательно должны ходить девушки такие же прекрасные, как это имя Мадона... Поле боя, когда еще не остыли тела погибших, похоже на остановившихся на привал уставших солдат. Мы шли с холма. Шли долго, никого не встречая. Только раненый вышел из леса и лег прямо на дорогу. Потом девушка с заплаканными глазами пробежала мимо.

— Кого вы ищете? — спросил я.

— Кухню ишу,— ответила девушка, сдерживая слезы.

Войков вновь взглянул на Василия Васильевича. Лицо его не меняло первоначальное выражение. Словно он спрашивал: при чем тут эта девушка, плачущая на поле боя, почему она не может найти походной кухни? И все же продолжал: «Все эти дни мы только и слышали о местечке Эргли, о береге реки и перекрестке дорог, где шли бои. Мы только и глядели на карту, стараясь представить себе эти места — узенькую голубую полосу, перекрещенную железной дорогой и белыми нитями шоссе. И вот мы здесь. Вот и река, каменное дно шуршит под сапогами. Дорога пересечена противотанковым рвом, в котором валяется разбитое оружие. Еще двести пятьдесят метров в подъем — и вот он перекресток, такой,какой он есть, сплетение трех дорог, слева на опушке окопы немцев, между деревьями церковь. На карте она выглядит черным крестиком, на самом деле это белые стены и больше ничего. А перед этим перекрестком, немного не дойдя до него, лежит наш солдат...»

— Хватит? — спросил Войков, прервав чтение. Тот только кивнул головой.

— И что вы можете сказать?

— Эмоции выветрятся, а сути в ваших записках с гулькин нос. Да вы первый все это выбросили из репортажа. Неужто вы не знаете, какое значение имеет Эргли? По-вашему, выходит, что Эргли — это погибший солдат. А ведь Эргли это гвоздь всей кампании. У вас об этом ровным счетом ничего! Разве это вы обязаны видеть? Эргли — это лубанские болота, это ключ к Риге. А Мадона? Разве это просто романтический городок а-ля Грин, по которому гуляют прекрасные девушки?! Черта с два! И Мадона тоже решающий бросок к побережью. Немцы держали Мадону не потому, что им очень нравились белые и розовые домики, а потому, что озеро Лубаны и Мадонская возвышенность позволяли им сохранять связь между шестнадцатой и восемнадцатой армиями. А вы ведете себя как штатская штафирка.

Василий Васильевич так увлекся, что забыл о том, что это он и есть штатская штафирка, всего-то любитель стратегических размышлений,

но Войков, хоть и понимал весь комизм нравоучений писателя, все же был огорчен суровым отзывом человека, которому очень доверял.

Он подумал: «Хорошо, что я не прочел ему ничего о встрече с Мильдой. Ведь он мне многое прощал, потому что я девушками не интересовался...»

Вспомнил явственно и щемяще, как в ту ночь он искал место, где можно было бы переночевать. Придорожные хутора были забиты войсками. Войков и его неизменный водитель Соловьев, разбитной ленинградский паренек с Лиговки, которого он научил не бояться трупов и мин, решил свернуть на боковую проселочную дорогу. В этом безмолвии еще более грозно грохотал сорванный глушитель. Хотели было повернуть назад, но тут увидели каменные стены. Одинокое глухое жильё не вызвало доверия. Войков решил, раз уж приехали, надо посмотреть, что за здание, кто в нем живет. А жили в нем старуха латышка и две ее дочери: старшая ничем не примечательная, и младшая, светловолосая, крепкая и стройная мейтани, что значит по-латышски девушка. Именно такими видел в своем воображении Войков девушек Мадоны.

В большой комнате было тепло и уютно. Девушки, коверкая слова, оживленно рассказывали о себе. Войков, в свою очередь, рассказывал им, что едет с фронта, что до Риги осталось сто километров, что хутора почти все разрушены.

И вдруг только сейчас, сидя рядом с Василием Васильевичем, Войков осознал, как опасно было останавливаться на ночевку в лесном хуторе. Ведь тогда в любой момент могли нагрянуть оказавшиеся в окружении немцы.

Ох, как бы распекли его редактор и писатель, если бы узнали про его ночевку на хуторе. А жизнь тем не менее шла. Продвигались наши войска все медленнее. И вот в шестидесяти километрах от Риги армия внезапно уперлась в немецкий оборонительный рубеж. Войков отправился к разведчикам выяснять обстановку и вернулся от них мрачнее тучи. Оказалось, что немцы успели воздвигнуть у курортного городка Сигулды серьезный оборонительный заслон, состоящий из двух основных полос и трех промежуточных, и, судя по всему, не собирались отдавать его без боя.

— Нам без Баграмяна не прорваться, — доверительно шепнул Войкову знакомый штабист, — а по тем сведениям, которые долетают к нам с левого берега Двины, первому Прибалтийскому фронту, несмотря на все его силы, приходится тоже нелегко. Так что придется здесь потоптаться.

В поисках материала для газеты Войков предложил редактору использовать броски на выстрел. Ведь там, где стреляют, есть о чем писать. И вот каждое утро, скрываемая осенней темнотой редакционная машина с журналистом и фотокорреспондентом стала выезжать на передовую с заданием доставлять в редакцию материалы о боях и командирах.

Несколько авантюрная идея Войкова, как ни странно, понравилась редактору. Однако сам Войков все равно был недоволен: то, что доставляли из этих рейдов «фронтовики», как называли в редакции журналистов его отдела, вызывало у него раздражение. Он безжалостно кромсал заметки о поисках разведчиков и подвигах саперов, как будто его ребята были виноваты в задержке наступления. Он завидовал газетчикам первого Прибалтийского фронта — им есть о чем писать, один танковый рейд к Тукумсу чего стоил, лихой бросок от Елгавы к морскому побережью. Вот это жизнь, а тут на правом берегу тишь — все те же действия патрулей и артиллерийские дуэли. Да пока удастся прорваться к Риге, немцы от города ничего не оставят! Ну как в такой обстановке сидеть за столом в редакции? И Войков каждый день просил редактора разрешить ему хоть разик слетать на «передок», но в ответ слышал лишь одно: «У вас дело поважнее, сдавайте материал в газету». И Войков сдавал статьи и заметки, а когда очередной номер уходил в печать, спрашивал вернувшихся из-под Сигулды, есть ли какие-нибудь симптомы наступления. Допытывался у штабистов, скоро ли двинется вперед Баграмян. Но кто мог ему ответить. А время шло, уже был на исходе сентябрь, и Войков полшутя-полусерьезно подумывал о том, что если ему не разрешат отправиться на передовую, то почему бы не прокатиться в тыл на укромный лесной хутор. И в конце концов редактор, со скрытной тревогой наблюдавший за ним, сказал:

— Ну ладно, капитан, езжайте, только без ваших фокусов, одной ногой к Сигулде, другой обратно. Чем немцы не шутят. Может быть, ваше появление и впрямь сдвинет их с мертвой точки, но помните, что ваше предписание действительно только до вечера.

Войкову не удалось выполнить указание редактора. На исходе ночи с пятого на шестое октября «виллис» с Соловьевым за рулем и с фотокорреспондентом на заднем сиденье ждал Войкова у крыльца. Теперь оставалось лишь нащупать горячую точку, но всю дорогу, как он ни прислушивался, с переднего края не доносилось ни выстрела. Войков подумал о том, как удивился бы фотокорреспондент, спавший закутавшись с головой в плащ-палатку, если бы Войков привез его не на передовую, а к праздничному столу на хутор к Мильде. Незаметно для себя Войков как бы вновь оказался рядом с маленькой латышской девушкой, которая угощала его парным молоком с брусничным вареньем и допытывалась, не опасна ли работа фронтового корреспондента и не ранен ли он. А услышав его признание, что он действительно ранен и притом в самое сердце, долго смеялась, решив, что это он признается ей в любви. «А может быть, я и в самом деле ранен в самое сердце не только немецкой пулей, но и стрелой Купидона?» — подумал Войков с ухмылкой... Не опасна ли работа фронтового корреспондента? А что на фронте не опасно? А ночевка на лесном хуторе разве не была опасна? А знакомство с Мильдой разве не было

опасным? А разве эта вполне безобидная поездка на нестреляющий фронт не может оказаться опасной?»

Эти мысли о мирном вечере и сонное сопение фотокорреспондента за спиной так не вязались с заданием, на которое Войков сам напросился, что он чуть не проехал КП армии, отмеченное крестиком на его карте. Еще на подходе к командному пункту он почувствовал долгожданный дух перемен. Вокруг штабных блиндажей, укрытых в лесу, в стороне от шоссе царило оживление, а от знакомого порученца Войков узнал, что ночью немцы начали отход от Сигулды.

Вот она, удача! Своевременно вырвался из редакции! Не заходя на КП, Войков бросился назад к своему «виллису».

— Давай! — крикнул он Соловьеву, и машина рванулась вперед, фотокорреспондент даже не проснулся. Ну и пусть спит, Войков душой был уже там, где протянулся передний край.

«Передний край!»! Что это значит — передний край? Позиции противотанковой артиллерии? Зарытые в землю танки? КП полков и батальонов? Землянки командиров рот, окопы пехоты? До сегодняшней ночи все это действительно было приметам передовой. Но не сейчас, когда фронт пришел в движение, когда саперы расчищают проходы для техники, а передовые отряды выдвинулись для преследования арьергардных частей врага. Все это теперь именовалось передним краем! «Виллис» едва двигался, сгиснутый с трех сторон текущей людской массой. Пехота шла молча, и в едва разговарившемся рассвете казалось, что бойцы дремлют на ходу. Где же он, самый передний край? Может, они пересекли его? Словно угадав мысли Войкова, шофер молча кивнул на воронки, на поваленные деревья, опутанные колючей проволокой, и Войков понял, что близок к тому рубежу, который редактор назвал «мертвой точкой». «Виллис» окончательно остановился, и Войков приказал объехать затопленную обочину, но Соловьев молча показал на дощечки, на которых черной краской было выведено: «Мины».

Выскочив из машины, Игорь увидел, что дело не только в минах: шоссе загромодили танки, а около машин сидела мотопехота.

«Вот с кем мне по пути, — подумал Войков. — Не возвращаться же в редакцию с очередной порцией мелких баек. Кому они сейчас нужны? Сейчас нужен репортаж из освобожденной Риги, и первыми в город прорвутся танки. Значит... А как же предупреждение редактора?» Но откуда мог знать редактор, что появление Войкова на передовой совпадет с наступлением наших войск?!

План созрел мгновенно: надо найти командира танковой роты, явно изготовившейся к броску. Где он может быть? И тут Войков увидел, как к танкам подкатила полуторка и на шоссе полетели

цинковые ящики с патронами, увидел, как десантники жадно расхватывают пулеметные диски, как торопливо рассыпают патроны по карманам. Понял: до командира не добраться. И в самом деле, прозвучала команда: «По машинам!»

Еще не зная, решится ли он на то, что редактор называл его «фокусами», Игорь наблюдал, как десантники рессаживаются на броне. Моторы танков уже рокотали, а он все раздумывал, как ему поступить. Выручила опоздавшая кухня. Десантники попрыгали на землю, получили свои «нормы», и, пока они с дымящимися котелками снова залезали на танки, Войков подбежал к «виллису», сорвал с шеи сонного фотокорреспондента лейку. Соловьеву крикнул: «Я с десантом», — и помчался к головному танку. Взобравшись на броню, едва втиснувшись между бойцами. В ту же секунду взревели моторы. Войков еще успел заметить, как Соловьев и фотокорреспондент стоят у «виллиса», задрал головы, и кричат ему что-то, размахивая руками. Потом дым скрыл их растерянные фигуры, и танк, широко и гибко раскачиваясь, покотил по шоссе.

Так, Войков всю войну избегавший танкистов по той причине, что у них никогда не было места для журналистов, оказался на броне, да еще головной машины. Мелькнуло: а ведь его ждут в редакции с материалом в текущий номер... И он ясно представил себе, что, когда «виллис» вернется в редакцию и фотокорреспондент и шофер расскажут, как Войков присоединился к танковому десанту, редактор заявит: «Опять авантюра, опять самоволка». И как будет пытаться Василий Васильевич доказывать, что в создавшейся обстановке решение Войкова было единственно правильным, ведь он имеет шансы одним из первых попасть в Ригу, а редактор пригрозит снять его с брони, насильно вернуть в редакцию и уж на этот раз наверняка отправит в штрафной батальон.

Войков и не подозревал, какую бурю он вызвал. Все, чем он жил еще вчера, разом отсекло, словно пулеметной струей, он снова сражался, а значит, готов был в любой момент вместе со всеми, кто сидел с ним рядом на броне, защищать танки, помогать им двигаться вперед. Такова природа боя, которую Войков успел хорошо освоить, когда командовал взводом, а потом и ротой.

Войков не знал, сколько прошло времени с того момента, когда вскарабкался на танк и присоединился к десяти стрелкам на броне.

«Как быстро мы притерлись друг к другу», — подумал Игорь и обнял за плечи худенького лейтенанта, который, судя по всему, не удивился, увидев среди своих бойцов неизвестного ему капитана.

— Ты тут командуешь? — спросил Войков. — Включи на довольствие. Я воевать умею, хотя, прямо скажу, в танковых десантах никогда не участвовал.

— Ничего особенного нет, — спокойно ответил лейтенант. — Главное, машину беречь. А их целая рота — девять штук, а нас, десантников, вместе с саперами всего-то семьдесят. Работать придется за троих.

Как бы подтверждением слов лейтенанта метрах в ста от дороги разорвался тяжелый снаряд, за ним другой.

— Ну вот и началось, — сказал лейтенант и тут же крикнул: — Приготовиться!

Войков не сразу понял, к чему должны приготовиться автоматчики. Но, увидев, что они вскочили, сообразил: им надо было покинуть борт танка. Но, прежде чем он успел последовать за ними, броня содрогнулась, и грохот пушечного выстрела оглушил его. Между тем десантники уже развернулись в цепь и, пригнувшись, бежали к холму, над которым возвышалась плоская башня самоходки. Вокруг рвались снаряды. Десантники залегли. Неожиданно люк головной машины раскрылся, появилась голова в шлеме, прокричавшая:

— Куда под гусеницы лезете? Вперед — на высоту! — И десантники снова побежали к высоте, а голова уставилась на капитанские погоны Войкова.

— Вы кто? — спросила она Войкова. — Из-под шлема смотрели строгие серые глаза. — Вы как? Вы что, десанниками командуете?

— Да нет, я сам по себе! — спокойно ответил Войков.

— Как это сами по себе? — удивился танкист. — На войне так не бывает. Вы откуда?

— Из газеты.

— Из газеты? Какой газеты? Тут бой, а не редакция. Не видите?

— Я все вижу, — спокойно сказал Войков.

— Вы, правда, в своем уме? — улыбнулся неожиданно танкист, снял шлем и обнажил свои почти красные волосы. — Куда же вас девать? Заряжающим сможете? Нет! Так постарайтесь заряжающему не мешать! — и приказал Войкову влезть в машину.

В недрах танка стоял грохот работающего двигателя. Попискивало радио, механик-водитель сидел за рычагами, не оборачиваясь, наводчик тоже его не замечал, а маленький, какой-то сонный заряжающий совсем втиснулся в стену и молча смотрел на неожиданно появившегося среди экипажа капитана с фотоаппаратом на груди.

— Вперед! — сказал рыжий. И тут же приказал в микрофон. — Николаев, прикрой мне борт!

Танк загрохотал и рванулся вперед. Войков огляделся. Ага, вот боекомплект, вот где они снаряды хранят. Сделано добротно и удоб-

но: снаряды были укрыты в гнездах вдоль стен. В тесноте, правда, но не в обиде, подумал он и неожиданно для себя вдруг вспомнил о Мильде.

«Еще чего!» — встрепенулся Игорь и включился в ритм боя, который вел экипаж танка. В башне стало трудно дышать, срабатывали газы от снарядов, пот заливал глаза. Перепонки уже почти не реагировали на хлопки выстрелов. И вдруг все стихло!

Рыжий приказал остановить машины.

— Ну вот и порядок, — сказал он. — Сейчас поедем побыстрее. — Люк захлопнулся, и механик-водитель, впервые обернувшись к Войкову, добавил: «Двинулись по маршруту».

А каков он, этот маршрут? Хоть бы карту посмотреть, но она в планшете командира. Все в танке заняты своими делами. Каждый сам по себе и все вместе. Не до него. Надо при случае выбираться на броню, где он, конечно же, будет полезен. Мелькнула мысль узнать хоть что-нибудь о каждом из экипажа.

Когда-то в училище Войков изучал Т-34, но запомнил немного: «тормоза отката», «люлька», «гитара», «боевой вес», «моторесурс». Да, немного он знает. Что же он может написать, сидя в танке. Вот будет хорошо, если Рыжий скажет: «Вы же видели все. Вот и пишите». А ему в люльке лежать. В настоящей, а не в той, которая используется для артиллерийского оборудования танка. Ему на гитаре песенку играть: «Когда я в армейской газете служил». Но танковая гитара всего лишь зубчатая передача и летит в первую очередь, когда под днищем взрывается противотанковая мина.

Они мягко и быстро катили по шоссе. И вдруг по броне застучал град пуль, слышались какие-то приглушенные крики, потом танк стало швырять из стороны в сторону, и механик-водитель вдруг повернул к Войкову искаженное криком, сумасшедшее лицо и закричал: «Давим, давим гадов!»

Танк швыряло из стороны в сторону, заговорила пушка, трещал спаренный с ней пулемет, и наводчик кричал заряжающему: «Куда бронебойные суешь? Давай осколочные».

...Когда танк остановился и Рыжий вновь откинул верхний люк, оказалось, что на воле был уже вечер. Семь машин стояли на окраине какого-то поселка. Вокруг никого, только танки... Семь? Он не ошибся? Войков снова пересчитал машины, на которых сидели нахохлившиеся десантники.

— Немцев нет, — доложил лейтенант, подбежавший к машине. — Проверили в домах, подвалах.

— Да хоть скажи, где мы, — попросил Войков.

Рыжий расстелил перед Войковым двухверстку:

— Вот хутор Инчукали, от Сигулды совсем недалеко. И нам еще мотать и мотать вот по этой дороге на Вангажи. Приказ: сбивать отряды прикрытия. Немцы нам так запросто этого сделать не позволят. Работенка предстоит непростая. Зато тем, кто пойдет за нами, будет полегче...

Он знал свое дело, рыжий танковый командир. Не зря горел три раза и был спецом по засадам, а теперь быстро освоил и тактику танковых рейдов. Он мог бы, наверное, дать первоклассный материал к статье о том, как истреблять истребителей танков. И Войков непременно делает беседу с ним. Но сейчас не было времени на это, не было. Танкисты готовили машины к очередному броску, Игорь снова перебрался к десантникам, взяв на себя саперную разведку.

Отряд выдвинулся по направлению на Вангажи ночью. Следующие четыре дня двигался вдоль железной дороги Мадона — Рига, сбивая противотанковые засады, очищая дорогу от мин. Шоссе шло по лесу. Это создавало трудности, сдерживало скорость: за каждым деревом могли скрываться фауспатронщики.

Только к 12 октября передовой танковый отряд, в котором оказался Войков, занял поселок Вангажи. Теперь Рига была рядом. Но для прорыва в город надо было переправиться через Киш-озеро. И как же обрадовался Войков, когда к их танковой роте неожиданно присоединился батальон автомобилей-амфибий. Только тут Войков вспомнил, что его задача не в том, чтобы танки охранять, а в том, чтобы доставить как можно быстрее в редакцию репортаж о взятии Риги...

Он проник в город с ротой автоматчиков, посаженных на амфибии, и на одной из этих удивительных машин промчался через Ригу от восточной ее окраины к западной, на набережную Даугавы, ставшую в тот день линией фронта: с левого берега немцы, отходя на Тукумс, держали под огнем наступающие части...

И в редакцию он возвращался на амфибии с разрешения командира автобатальона. Измученный, запыленный, заросший, он явился перед очи редактора. Тот ни в чем его не упрекнул. Всего лишь спросил, чего это он на автомобиле, а не на танке приехал?

— Чтобы показать вам машину, на которой мы первыми в Ригу въехали, — улыбнулся Игорь. — Жаль только, что я водителя, который так лихо к вам меня довез, не могу задержать для разговора: ему велели срочно вернуться в часть.

— А снимки привез?

— Нет, — признается он. — Но зато есть репортаж об освобождении Риги.

— А статью танкиста привез? — спросил редактор.

— Времени не хватило.

— Чем же ты занимался пять дней?

— Ехал в Ригу,— сказал Войков.

— Просто ехал? А как же ваше фантазерство? — не удержался от иронии редактор.

— Нет, без фантазии на войне не обойдешься,— весело ответил Войков.— Без нее на войне не проживешь. Разве не фантазия, что я сейчас к вам на амфибии приехал,— и вдруг продекламировал: — «Зачем же, зачем я в газете служил, статей наворочал я гору, чтоб выговор строгий наградой мне был, а орден достался шоферу?!»

— А шофер это кто? Водитель амфибии? — спросил редактор. Но Войкову виделась фигура командира танкистов, его трижды обожженное лицо, виделись на броне десантники, окровавленные траки танков, саперы, которыми он командовал, амфибии, несущиеся по Киш-озеру, лица рижан, с которыми сегодня беседовал. И думал он сейчас лишь о том, как бы все это получше, правдивее изложить на газетной полосе. К тому же не обходясь и без фантазии.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------|----|
| Бетонный шлагбаум | 3 |
| Строка в блокноте | 9 |
| Урок пулеметной стрельбы | 17 |
| Фантазер | 31 |

Виктор Яковлевич ВИКТОРОВ

СТРОКА В БЛОКНОТЕ

Редактор **Б. А. Леонов**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**.

Сдано в набор 12.02.86. Подписано к печати 21.04.86. А 00671. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,00. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд № 1062. Зак. № 2443. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● **ПОСЛЕ РЕМОНТА**

КИНОКАМЕРА РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!

В специализированных мастерских ремонта бытовой техники установят характер повреждения, отремонтируют или заменят неисправные узлы и детали, проверят работу киноаппарата с помощью современных контрольно-измерительных приборов.

Росбытреклама